

ВАЛЕРИЙ  
ЧКАДУА

● КОГДА ПОЛЕ  
К Р А С И В О ●

Абгосиздат  
Сухум 2011

ББК 84(5Абх) 6-44

Ч 73

**Чкадуа, В. Л.**

**Когда поле красиво** : роман, рассказ, повесть.

Абгосиздат. Сухум, 2012. – 256 с.

Валерий Чкадуа известный композитор, лауреат Государственной премии им. Д.И.Гулиа, автор гимна Республики Абхазия.

В книгу вошли роман «Когда поле красиво», рассказ «Голос далекого радио» и повесть «Последняя лань».

**ББК 84 (5Абх) 6-44**

© Чкадуа, В. Л., 2011

© Абгосиздат, 2011

# КОГДА ПОЛЕ КРАСИВО

*Роман-симфония*

Поле помнило зеленые волны буйствующих трав, бегущие под ветром. Иногда в тишине ночи оно представляло себя очень молодым – девственно зеленым полотном, трепещущим от любого прикосновения ветра. Тогда, желтыми искрами радости первому, весеннему солнцу, вырывались из недр его мягкие комочки одуванчиков – маленьких земных отражений солнца. Век их был недолг: солнечные головы быстро седили и пушинками памяти короткой ярко-радостной юности уносились куда-то, может быть, в само небытие, отрываемые ветром от великого притяжения могучих жизненных сил поля. А недра его выталкивали на свет новые стрелы листьев, готовые немедленно раскрыться от упоительного восторга жить бутоны и разбухшие, потрескавшиеся от нетерпения почки. В бездонное синее небо смотрели широко раскрытые, опущенные белыми ресницами глаза ромашек. Они покачивались от ветра на гибких своих стеблях, словно напевая под его музыку свою никому неслышную песню о том, что можно разглядеть в глубине неба, на этом синем дне перевернутого моря.

«Звон-н! Звон-н!» – ударялись о ветер лиловые колокольчики – маленькие колокола поля. И сейчас поле еще изредка

слышало этот, казавшийся теперь каким-то поминальным пением, звон своего сердца.

«Звон-н... Звон-нн... Бон-н... Бон-н...» – глухим скорбным набатом отдавалось в недрах поля эхо, то ли облетевший землю по кругу и вернувшийся к месту своего рождения измененным до неузнаваемости звон давно отцветших на этом поле колокольчиков, то ли плач несбывшихся цветов – навсегда похороненных в глубинах колокольных бутонов.

«Бон-н! Бон-н!» – и печальные глаза ромашек опустили белые ресницы. Они смотрели уже не в небо, а вниз, в глубину, в самую сердцевину, как смотрит сама в себя, не имеющая настоящих глаз, душа...

«Бон-н! Бон-н!» – навсегда улетели в память парашютики безнадежно состарившихся одуванчиков.

По ночам, когда стихали назойливые дневные крики, толпящихся в небе ворон, поле слышало голоса других птиц, давно покинувших его и зовущих теперь из памяти его прошлое.

«Что это были за птицы? Неужели навсегда стерся спокойный образ их и остались лишь голоса?»

«Бон-н!.. Бон-н!.. Боль! Боль!»

...Боль... – это слово было когда-то совсем незнакомо ему.

Боль – это когда, отточенным до звона плугом, режут на черные сырые ломти твою душу и выворачивают ее наизнанку, чтобы она не могла больше родить цветов.

Боль – это когда из тебя год за годом тянет соки твердое кукурузное зерно, когтями корней впиваясь в развороченную, ноющую от тоски мякоть тела.

Поле вспоминало себя изумрудно-зеленым покрывалом молодой весенней травы, желтым осколочком солнца, голубым отражением неба, но никогда не черным.

Легче всего представить себя радостным и ярким было по весне, когда молодые ростки кукурузы еще ничем не на-

поминали одревеневшие жирные стволы – насосы, тянущие на себя силы земли. Поросль эта больше походила на молодые, просыпающиеся после зимы травы. Длился этот обмен совсем недолго – кукурузный часток кол креп и набирал силу, и тянул, тянул, тянул сок земли, не зная отдыха и срока.

Труднее в иллюзию было впадать, когда душа истоптана лязгающими ногами трактора, разорвана на узкие ленты и выворочена наизнанку. Тогда ночь, казалось, перемешивалась с полем, и оно представляло себя израненным и черным и совсем не хотелось, чтобы наступило утро. Одно дело представлять себя черным и нагим в темноте, и совсем другое – оказаться черным и нагим в рассветных лучах солнца, торопить утро, прогонять день, стыдиться себя и ждать темноты.

Израненную душу редко посещают цветные сны, а собственная чернота, осознание ее, сть лишь добавление мук, худший из кошмаров.

Еще поле помнило седого почтенного старца с посохом в руках, самого уважаемого человека ахаблы.

В праздники приходил он сюда во главе людей и приносил с собою праздник. Поле помнило старца, но теперь уже сомневалось, был ли он на самом деле.

Был ли он, если все, что он тогда говорил, осталось там, в прошлом, и сегодня никому не слышно и не нужно?

«...Поле принадлежит всем!»

«Бон-н...»

«Боль...»

С каждым годом поле все больше чувствовало себя каким-то жалким, умирающим субстратом, из которого высасывают последнюю жизнь, чувствовало себя бестелесной тонкой пленкой, накипью, почти плесенью, обреченной на небытие. Оно боялось ветра, который, казалось, прилетал сюда исключительно для того, чтобы сорвать эту отвратительную самой себе пленку с лица земли.

И только стебли кукурузы, сплетаясь корнями, удерживали этот субстрат, боясь собственной голодной смерти.

Исчезла основа, исчез какой-то стержень, на который нанизывалась и держалась, кажется, сама суть существования.

...В девственность вечно молодого, полного неиссякаемой радости жизни, поля вонзался великий священный дуб. Это главное порождение земли, гордость поля, которому оно отдало лучшее, что было в нем. Могучее дерево, ставшее опорой самому полю... Громадными руками ветвей оно ласково обнимало поле, защищая в нем жизнь... Жизнь... ее хватало тогда всем: птицы, чьи голоса все еще живут, отделившись от стершихся, забытых образов, они селились в кроне, кормились, пели, выводили потомство и непременно возвращались по весне к своим оставленным на зиму гнездам. Дуб удерживал на ветвях это царство суеты, гомона и веселых песен, а листва его шептала под ветром, баюкая птенцов: «Поле принадлежит всем». Ветви, приветливо раскачиваясь, манили к себе все новых зверей и птиц, обещая пищу и кров. Пугливые дикие голуби, беспокойные дрозды и величественные, как сам царь-дуб, орлы одинаково благодарно откликались на зов могучего дерева. Жизнь проходила под дуб днем вместе со стадами домашних животных, а ночью стекалась с гор, спускаясь на быстрых заячьих лапах, рыжей лисицей шла по следу, поджав хвост, пробиралась шакальми тропами.

«Идите сюда! Поле принадлежит всем!»

Седовласый старец одной рукой поднимал к небу наколотые на дубовую ветвь сваренные сердце и печень жертвенного быка, тепло крови которого еще хранила трава под кроной дуба, а другой рукой ударял посохом о землю, и сотни, собравшихся под священным деревом людей, открывали себя к восприятию великой мудрости и добра, вливающих в душу вместе со словами мудрейшего.

«О, Великое поле!»

О, Дуб – щедрый покровитель всего живого! Травы тянутся к тебе. Птицы и звери завершают у тебя дальние свои дороги. Люди по великим праздникам собираются под священной твоей кроной черпать силы земные в молчаливом общении с тобой. Ты принадлежишь полю, поле принадлежит всем. Промой же нас от зла и жестокости соками своими, научи же нас добру и покровительству!

Да будет благословенна доброта твоя! Да будет благословенно равновесие, которое ты держишь на своих ветвях!»

С тревожными криками взметнулись в небо перепуганные птицы, разнося на трепещущих крыльях своих предупреждение о беде. Животные высоко подняли головы, позабыв о сочных полевых травах, тревожными ноздрями ловили в воздухе запах счастья. Поникли от горя и сами травы, из лазурных звонких колокольчиков выкатились росинки слез и, упав на белые ресницы ромашек, горем залили их желтые глаза.

«Боль...» – впервые пропел колокольчик. «Боль!» – хищными птицами ударились о ствол дуба точеные топоры и рухнуло на землю порубленное тело великана. От боли заломились руки-ветки, задрожала от удара земля.

«Боль-ль...» – простонал умирающий придавленный дубом колокольчик, навсегда уткнулись в землю горестные глаза ромашек.

Не проросло подмятое мертвым деревом семя одуванчика.

Ветер от удара о поле разлетелся во все стороны, и распахнулись от грома окна в домах ахаблы, и оплакали люди смерть старца, рухнувшего на землю еще прежде, чем беспомощно повалился на поле дуб.

\* \* \*

Бывали дни, когда Мальчик осознавал себя уже совсем большим.

«Ешь», – говорила Мама, выкладывая на низенький столик, старенький, но выскобленный до первозданной новизны, добавочную порцию мамалыги. «Ешь, ради бога. Ты ведь уже такой большой у нас!»

«Помогай, – говорил Отец, протягивая ему тоху и жестом указывая на гряду кукурузных стволиков, которые он должен будет прополоть. – Ты уже большой». Но в этот момент Мальчик почему-то начинал чувствовать себя таким маленьким и беззащитным среди этого леса кукурузных деревьев, частоколом торчавших из земли, что тоха начинала казаться ему неподъемно тяжелой, а указанная грядка бесконечно длинной. «Хорошо быть маленьким», – думал тогда Мальчик, мечтательно опираясь на тоху. «Помогай, Хумач!» – торопил Отец.

Было время, когда кукурузного поля вообще не было, то есть само по себе оно было, наверное, всегда, но Мальчик просто не знал тогда еще, что оно есть.

Так бывает, когда вдруг утром открываешь глаза, а в твоей комнате стоит новогодняя елка, маленькая, какая-то вся мягкая, с зелеными ежиками ветвей, блестящая серебром гирлянд, увешанная прозрачными шарами, на гладких боках которых, отражаясь, раскачивается вся комната, и сам ты, и Мама, которая входит в комнату как раз в этот момент, когда ты открываешь глаза. Но ведь елка уже была когда-то, была с первого его Нового года и, наверное, еще раньше, только ты не знал, а вот теперь, открыв глаза, открыл для себя елку, блеск праздничной мишуры и даже себя, который умеет отражаться в серебряных шарах как в воде или в зеркале.

Поле, наверное, тоже было всегда, но однажды Мальчик просто открыл его для себя. Открыл неожиданно, страшно, а открыв, тут же захотел раз и навсегда позабыть его как сон, в котором снятся змеи, умирает Мама или рушится на тебя огромных размеров страшное дерево.



Сон про дерево был самым страшным, наверное, от того, что он периодически повторялся, приходя всякий раз неожиданно и прокручиваясь в мельчайших подробностях. И каждый раз Мальчик, перепуганный до полусмерти, убегал по бесконечному зеленому ковру травы от единственного на целом поле дерева, всегда почему-то валившегося на него. Задыхаясь на бегу, всхлипывая и размазывая по щекам слезы, он изо всех сил старался укрыться от этого дерева, но укрыться было негде, а поле, как бы понимая это, даже само подбрасывало его, делая шаги гигантскими легкими скачками, уносящими Мальчика от неминуемой гибели.

Он все время бежал, а дерево падало и падало и так до самого утра, настигая Мальчика у самого края поля. Он на миг закрывал руками лицо, готовясь принять на себя тяжесть корявого древесного тела, дрожал от погребенного в глубине души страха и подавленного в горле, бьющего в небо рыдания, а дерево все падало, падало, падало и никак не могло упасть, и Мальчик все никак не мог заставить себя открыть, наконец, глаза, а когда отводил от лица руки, чтобы увидеть, что же творится в мире его сна и узнать, когда же упадет это бесконечное, настигающее его дерево, находил себя погребенным в паутине обломанных и перепутанных ветвей и сучьев, оказывается, давно уже упавшего дерева. Над головой висела густая сетка ветвей, сквозь которую мозаичными осколками просвечивало ярко-голубое небо. Словно паучок, заблудившийся в лабиринте собственных плетений, Мальчик карабкался по окружавшим его со всех сторон ветвям, время от времени поглядывая на небо. Дорога вверх казалась однообразной и бесконечной, и только мозаичные квадраты, медленно складывающиеся в голубой шатер неба, становились все крупнее и ярче и, наконец, раздвинув последние перегородки сучьев, вознеслись над головой легким прозрачным куполом.

Едва коснувшись головой неба, Мальчик видел себя поднятым высоко над землей, сидящим на кроне упавшего дерева среди разбросанных птичьих гнезд, раздавленной яичной скорлупы, белой, голубоватой, пятнистой, почти коричневой, из которой сочились на обломки ветвей одинаково желтая жидкость, желточные тела несостоявшихся птенцов.

Он так долго карабкался наверх, складывая из мозаичных квадратов свое небо, что тельца раздавленных ветвями птиц истлели и превратились в отвратительную, жалкую мешанину перьев, костей и грязно-желтых истонченных лап, листья, осыпавшиеся от удара, пожухли и почернели, сами ветви высохли и обломались, и только капельки желтков – жидкие тельца несформированных и невылупившихся птенцов – все сочились и сочились из раздавленных яичных скорлупок. Мертвые же ветви все еще хранили очертания кроны живого дерева.

Наверное, был грохот удара, треск изломанных сучьев, предсмертные крики не успевших улететь из гнезд, раздавленных птиц, но Мальчик ничего этого не слышал или не помнил, или не мог слышать. Под кроватью разверзлась разрытая, перепаханная ветвями земля, валялась пожухлая, вывороченная с корнем трава.

Он правильно сделал, что тогда закрыл ладонями глаза, чтобы не видеть ужаса собственного сна. Страх и крик, запертые внутри, давили на уши и грохот рухнувшего дерева не проник сквозь этот естественный заслон. Нужно было теперь быстрее слезать с кроны, но внизу на разрытой земле, под обломками ветвей, среди разбросанных гнезд и раздавленных яичных скорлупок, из которых все еще вылуплялись эти жидкие недоношенные птенцы, было жутко, как во сне, когда снятся змеи или умирает Мама.

Теперь Мальчик плакал навзрыд, не зная, что ему делать: на небо не было ступенек вверх, а дерево, рухнув, оборвало

всю бившуюся и только еще зарождавшуюся жизнь, оставив невредимым только Мальчика... Не исцарапав и даже нисколько не задев его обломками своих корявых сучьев.

Ах! Да разве об этом думается, когда сидишь один в этом царстве оборвавшихся жизнью?!

Он бы, наверное, так и остался в этом ужасном состоянии, будучи подвешенным между голубым куполом и смертью, если бы не Мама. Мама вошла в его сон, погладила по голове мягкой ласковой ладонью: «Не надо плакать, Хумач. Видишь. Я уже пришла к тебе. И пускай умирает это дерево, на свете много других деревьев. Все когда-нибудь умирает? И деревья, и птицы, и люди. Не плачь, Хумач. Мы позовем Накуа-гадалку, и ты не будешь больше плакать по ночам.

Ты добрый мальчик, тебе жалко сорной травы в огороде, когда я подрубаю ей корень тохой, тебе жалко жирных зеленых гусениц на капустных листьях, которых я поливаю отравой. Всем детям снятся ночью сказки, корабли, красивые машины, а ты оплакиваешь какое-то рухнувшее дерево. Ничего, Накуа поможет нам. Вставай, Хумач, вставай скорее. Смотри. Какое яркое солнце сегодня утром!»

Мальчик подставил ладошку бывшему сквозь оконное стекло в комнату широкому солнечному лучу и, погладив его невидимую теплую руку, понял наконец, что проснулся, что Мама приходила не во сне, что луч этот настоящий, жаркий и ласковый, а значит и солнце настоящее, и этого подрубленного дерева и погибших птиц на самом деле нет... Но если солнце настоящее, значит там, в глубине двора сейчас мучается на жаре маленькая травка, спасенная им недавно. Бледно-зеленый чахлый кустик какого-то растения... Мальчик отрыл его из-под металлических обломков на свалке за сараем, куда Отец годами сносил всякий хлам. Вот там-то и разглядел он два жалких зеленых глаза – крохотные молоденькие листочки никогда невиданной им ранее травы. Ух, и пришлось ему потрудиться

тогда, разгребая завал! И какой только всякой всячины не перетаскал он в тот день, чтобы освободить травку от мук! С тех пор каждое утро он поливает свою грядку водой. Благодарное растение, освобожденное от тяжести дырявых кастрюль и ломанных лопат, с каждым днем зеленело все ярче и радостнее, выбрасывая навстречу солнцу новые руки – листья.

Такой травы не было нигде: ни в огороде, ни в акациевой рощице, что за домом, ни даже у соседа, про которого Отец с уважением говорил: «Хозяин что надо! У него в огороде только ананасы не растут и то, наверное потому, что семян достать не может». Так вот, даже у этого соседа такой травы не было.

Теперь о поле.

Поле, как новогоднюю елку, он тоже однажды открыл для себя. Оно на какое-то мгновение вдруг стало существовать, но Мальчик постарался быстрее забыть о нем.

О, какой это был ужас! Даже сейчас без страха невозможно вспомнить об этом.

Как сон!

Нет, даже еще хуже! Это и был самый настоящий сон, только он был на самом деле, и который еще вдобавок ко всему являл собой продолжение кошмара, в котором то, упавшее в его повторяющемся сне дерево, все-таки падало на самом деле и превращалось в тлен. И каждый раз щадило только Мальчика, и каждый раз было одинаково страшно – не передумает ли оно и не сметет ли его – птенца человеческого с лица земли, с лица доброго, всегда спасающего его поля, всякий раз убегающего из-под ног как живая дорога.

...Ряды кукурузной чалы пропустили Мальчика сквозь строй, сомкнувшись за спиной, заслонив дом, изгородь двора и стену сарая, за которой росла его изумрудная трава. Легкий ветерок пробежал меж чалой, погладив крепкие

стройные стволы, и листья кукурузы, передавая друг другу новость, зашелестели: «Ветер... Ветер... Ветер...»

Огромный по меркам насекомого царства жук скатился откуда-то с верхушки кукурузного дерева и, зацепившись крючочками лап за шероховатый лист, застыл вдруг, озираясь по сторонам и, видно, все еще не осознавая, действительно ли он остановился в своем рискованном падении или весь мир вдруг стал падать вместе с ним, и ему только кажется, что он так неподвижно сидит на листе.

Ветер снова пробежал меж чалой, и листья зашелестели, разнося по полю неприятную новость: «Жук! Жу-ук... Жуть... Жуть... Фу! Фу! Фу! Фу!» Расправив черные глянце-вые крылья, жук, словно не замечая суеты вокруг себя, потянулся, должно быть от удовольствия, что падение его прекратилось, показал кукурузе великолепные свои прозрачные подкрылышки. Он понял наконец, что уже не падает, а это было куда важнее презрительной болтовни кукурузы, которой от скуки заняться просто нечем. Да и какие у нее развлечения? Ветер, дождь, да вот разве он еще, жук, когда залетит. «Жук! Жук! Жук!» – и жук, перебирая цепкими лапками медленно пополз в пазуху листвы: «Подумаешь?! Жук! Жук! Жук!»

Молодая, полная сил кукуруза стояла, высоко подняв горделивые венцы листьев, а из пазухи первого листа, выбросив прядь шелковистых волос, стыдливо выглядывал из оберток первый упругий початок, отливая свежестью воскового блеска, как обнаженная, переполненная первым, еще неиспытанным губами ребенка, молоком груди молодой матери. Это было открытие поля – мира кукурузы, жуков и белых бабочек, беспрерывно кружащихся над головой. У поля было начало и, наверное, совсем не было края.

«Жук – жук – жук! Жуть – жуть – жуть!» – не унималось поле, обсуждая главное потрясение сегодняшнего дня, воз-

мутителя спокойствия черного жука, а потом вдруг: «Мач... Мач... Мач...»<sup>1</sup>

– Я не маленький, – обиделся Мальчик и, опустив голову, стал исподтишка поглядывать на поле. На самом-то деле он не обиделся, а только сделал вид, что ему неприятно. Увидев впервые, он уже успел полюбить в этом мире все: и жука, и кукурузу, и белых бабочек над головой. Нет, бабочки над головой уже летали, когда он ходил по двору или сидел в саду, но тогда он даже и не подозревал, что больше всего их можно полюбить на поле, вот как сейчас, хотя и задавался вопросом, за что именно.

Так, любя и восхищаясь, впервые покинув мир своего двора, он шел по зарослям, думая о том, что он уже никакой не Мач, а совсем взрослый самостоятельный мальчик и что кукуруза выросла за одно лето из зернышка высотой с персиковое дерево, то это не значит, что она такая же взрослая, и что он сам, конечно, старше этого поля уже только потому, что он был тогда, когда поля не было, что он поле открыл, а не наоборот.

Не страшась заблудиться, Мальчик шел вперед, выбирая себе дарогу меж чалой и обнимая сердцем черного жука и наливающуюся молочной спелостью кукурузу.

Есть ли у поля край? Куда оно ведет? Есть ли на земле вообще еще что-либо, кроме отцовского дома и этого прекрасного поля? Если нет, то, пройдя по земле, как по колесу арбы, он обязательно вернется в свое село. Рассуждая так, Мальчик шел вперед, пока чала, стоявшая до этого плотной стеной, не расступилась вдруг и не открылась за ней неожиданная картина.

Сон?

Нет! Этого не было во сне!

Но все это не может быть наяву. Сон.

Дерево, огромное, замшелое, наполовину затянутое вре-

---

<sup>1</sup> Мач (абхазск.) – маленький

менем в землю, лежало перед Мальчиком. Корявые ветви его были обломаны в том давнем падении и обрублены топором (это, наверное, уже потом, позже). Чурка, обрубок, колесованный великан, ставший после казни еще страшнее.

Сон?

Все-таки оно упало? Значит, это было?

Как это странно и страшно. Оно столько раз падало и все-таки упало на самом деле. Падение его всегда завершалось благополучно для меня. Но это там, тогда во сне. Значит, у сна есть еще продолжение? Что же ждет меня в этом продолжении?

Бегом назад. Бегом отсюда, пока плесень и мох, приковавшие его к земле, не расползлись в стороны и не поглотили Мальчика в себе, как в страшном болоте.

Назад!

Жесткие листья кукурузы хлещут по голым ногам и лицу! Вот, значит, что скрывается в центре этого поля! Предательские листья, они хотят удержать его здесь! Бегом! Вот, значит, какую тайну охраняют воины – кукурузные стволы. Бегом отсюда!

А жук? Бедный жук! Он заполз в пазуху листа! Это тоже ловушка, только для тех, кто поменьше. Ах, если бы я нашел тот лист!

Нет ничего страшнее, когда снятся змеи, во сне умирает Мама или падает дерево.

...Или все страшные сны живут и днем, и прячутся в таких укромных местах?

\* \* \*

О существовании поля Мальчик постарался сразу же позабыть, едва сомкнулась за ним стена кукурузной чалы. Задуманное получилось. Теперь он больше уже не пробовал уходить далеко вглубь, в суть этих коварных

зарослей. Мальчик забыл поле настолько, что поле вовсе перестало существовать для него, вроде бы он его никогда и не открывал для себя, а страшный сон, в мире которого прекрасное, силой и величием своим, дерево, подрубленное кем-то, рушится вдруг на перепуганного, бегством спасающегося от него Мальчика, больше никогда не посещал по ночам маленькую, распахнутую утреннему солнцу комнату.

Время от времени Отец подбирал в сарае тоху полегче, и, как бы взвешивая в руке, не тяжела ли она будет сыну, говорил: «Помогай, Хумач, кукурузу тохать, ты уже большой». Тогда Мальчик выходил с Отцом на работу, но страха не было, как не было его до того злополучного открытия поля. Это была работа, а поле было не больше и не страшнее, чем мамин огород. Только у нее росли ахул, помидоры и маленький горький перец, а здесь созревала мамалыга. Вот и все. Теперь про мамин огород. Стоило Мальчику попасть на него, как в голову начинали приходиться всякие вопросы. На грядках там синели баклажаны, жили лук, фасоль, кинза и еще один большой с толстыми мясистыми стенками. Большой перец, как все, большие и полные, был очень добрым и от этого сладким. После он краснел на солнце. Как краснеют от напряженной работы на жаре добряки-толстяки, вроде их соседа, у которого на огороде разве что ананасы не растут. Маленький и худой перец тоже краснел, но при этом не успевал вырасти, а так и оставался тоненьким стручком, краснеющим раньше времени от горечи и злости, в которую у него уходят, наверное, все те силы, что у добряков в полную и рост. Так вот, с этими перцами в огороде было все ужасно перепутано: сладкий и добрый называли болгарским, хотя похож он был точь-в-точь на их соседа дядю Адгура, а про горький почему-то говорили «абхазский», хотя на самом деле он был прямо как их другой сосед – переселенец Лад.



Все это было на огороде, а в поле, когда Отец давал ему в руки тоху, Мальчик сразу же начинал чувствовать себя очень маленьким и очень беззащитным в этом кукурузном море. Тохать – это значит острой тохой, под самый корень, вырубать маленькую травку рядом с кукурузой и нагребать гору земли вокруг кукурузных корней, все время норовящих вылезти на поверхность. Мальчик хорошо понимал, что все это была вопиющая, до обидного страшная несправедливость, которую веками вершили люди. Даже не задумываясь о глубине изощренной жестокости, граничищей с глупостью. Разве это правильно давать жизнь одним за счет других? Не позволяя вырасти как следует маленькой тщедушной травке, ее режут под самый корень, чтобы она, не дай бог, не вынесла из-под земли ту малость, что нужно ей, дабы вырасти самой, дать потомство и еще чуть-чуть сил этому потомству, чтобы оно хоть как-то могло поддерживать свое существование, отделившись от материнского растения – и все это ради кукурузы. Не обделит бы огромное кукурузное дерево! Дать бы ему еще и ту горсть земли, из которой вырвана та малая травка!

И вот кукуруза тянется вверх, жиреет, наливает початки, а корни ее столь ненасытны, что сколько не сыпь на них землю, все равно норовят из-под земли змеями вылезти. Лезут и требуют: «Еще! Еще! Нам! Нам! Все нам!»

Нет же! Нет! Кукуруза нужна, и Мальчик сам больше всякой еды любит мамалыгу, но кто сказал, что другим маленьким травкам не надо жить, питаться и плодоносить? Кто так решил? Быть может, стоит отпустить им немного больше, чем сейчас, времени и земли, дать им подрасти, и они породят что-либо такое, до чего кукурузе, огромной сильной кукурузе, будет, ох, как далеко?! Кто же так раз и навсегда установил этот срок жизни для всех? Кто вселил это в сознание людей? И почему не могут они веками понять несправедливость, творимую их же руками и почитаемую за нуж-

ную работу? Нужную кому? Кукурузе? Им самим? А трава? Почему же не хотят люди увидеть, наконец, плоды этих изгоняемых, вырубаемых растений? Плоды мелкие? Бесполезные? Может и невкусные? Этого же никто не знает!

Не сами ли люди сделали их таковыми за долгие столетия гнета и изуверства?

Есть ли сейчас способ вернуться в это великое время равных ценностей.

Мотыгой люди вырубают остатки справедливости и еще насильно заставляют делать это своих детей, насаждая свое ошибочное понимание правды, втягивая детей в несправедливость, в которую были втянуты некогда сами.

Нужно хоть раз дать траве возможность вырасти и принести плоды. Ведь она еще надеется на торжество этой правды, ведь каждый год, несмотря на гонения, пробивается из земли снова и снова. И как только у нее сил хватает?!

Нет. С Мальчиком такого не случится. Никогда не будет он рубить мотыгой траву. Земли для кукурузы хватит, даже если нагрести ее меж чахлых зеленых кустиков. Станет с нее! И еще Мальчик присыпет землей зеленые ростки изгоняемых растений, чтобы Отец не заметил их жизни.

У кукурузы были и враги. Насколько Отец ее лелеял, мотыжил любовно и подкармливал ее, настолько безжалостно вороны выклевывали молочные зерна из молодых початков, стремясь получить, видно, свою долю с поля несправедливости. Мальчик никогда не видел их разбойничьих, по словам Отца, налетов, и сколько Отец не носил с собой в поле двустовлку, они никогда не прилетали. И все-таки время от времени, он обнаруживал следы птичьих трапез, и тогда при работе, размахивая мотыгой чаще обычного, с яростью вонзал ее в землю (вымещая тем самым злость на несчастной траве), приговаривал: «Клянусь солнцем, я их!.. Я их!.. Клянусь святым дубом!»

«Что он их? – думал Мальчик. – За что он их? За то, что сюда прилетают? Неужели он не понимает, что вороне все равно, где кормиться? Они же не знают, что Отец эту кукурузу любит больше их и любой траву».

Туча густая, тяжелая, как черный, пропитанный копотью туманн, напознала на поле. Распластав свои темные, тяжелые от воды крылья, она плыла на волнах ветра, клубясь и перегоняя сама себя Ветер, словно стараясь избавиться от повисшей на нем тяжести, убегал от своей ноши все быстрее, а туча, впиваясь когтями молний в его гребни, не упускала ни одного порыва и неслась вперед, как страшный коршун, вцепившийся в убегающего от него козленка и выжидающий на его спине, когда же жертву оставят силы и можно будет затащить ее в поднебесье.

Испуганные страшным ее видом кукурузные листья отчаянно трепетали, хлопая зелеными лопастями по стволам и надрываясь от напрасного усердия взлететь в небо и пробиться сквозь черную мечущую огненные стрелы муть к солнцу. Но корни растений с таким усердием были засыпаны землей, что горой своей напоминали могильный холм сытости над великим порывом устремиться в небо.

Нет уж! Или есть на земле досыта, или летать!

По-взрослому забросив на плечо мотыгу, Мальчик तोпился с поля. Отец с ружьем шел следом, словно бы защищая сына от дикого громового грохота движущейся по пятам тучи.

Горсти колючих молний летели на землю, вонзаясь в отпечатки их следов, оставленные на рыхлом, дышащем страхом поле. В наступившем вдруг безветрии кукуруза безвольно и безнадежно опустила свои руки-крылья, склонив венцы голов перед грохотом и чернотой. Отец защищал Мальчика, а за ним уже, наверное, раскололась земля, разверзаясь под молниями и бешеным громовым хохотом страшной тучи. Мальчику казалось, что с каждым таким раскатом он все

глубже врастает в землю, словно туча и его собственный ужас вбивают его в поле по самые плечи, и ему все труднее и труднее пробираться меж кукурузных холмиков. Он знал, что стоит только поднять голову и посмотреть на клубящиеся в небе испарения адского бурлящего котла, как это его состояние раздавленности и беспомощного замирания души исчезнет, потому как нет там никакого котла вовсе, а есть обычная туча, но на это нужно было решиться.

Туча уже укротила ветер и погасила лучшее кукурузное желание, пришедшее к ней, быть может, лишь однажды – желание воспарить над землей, пускай даже из страха, воспарить над сытостью. Не метнет ли она острый сноп гневных молний в поднятую голову?

Нельзя, нельзя давать зарывать себя в землю по самую макушку!

Мальчик поднял глаза в небо.

Молния!

Удар грома!

Еще молния, и еще удар, но похожий уже не на смех, а на надрывный стон.

Что это?

Туча раскололась на куски от собственного сотрясения? Черно-серые комья ее сыпятся прямо на голову Мальчика!

Что это? Месть? Месть за поднятые глаза?

«Ах! Лучше бы уйти в землю по самую макушку! Сейчас эти мячики будут барабанить по голове, пока не вобьют в поле меж кукурузными стволами, как акациевый кол. Нужно закрыть голову руками и бежать отсюда быстрее, чтобы эти посыльные разъяренной черной птицы промахнулись».

«Клянусь святым дубом! Я их!» – яростно прошептал Отец за спиной.

Как хорошо, что он рядом! Он защитит!

Послышался удар ремня о приклад двустволки.

«Я их!»

«Что он с ними сделает?»

Мальчик присел на корточки и, прикрыв голову ладошками, смотрел в небо, стараясь разглядеть, как будут падать на землю обломки подстреленной тучи.

Растопырив растрепанные крылья, серые отпрыски тучи шарили над землей, наверное, отыскивая спрятавшегося под кукурузой Мальчика.

Ах, как они похожи на ворон!

– Кар-р! – этот крик нарушил тайну внезапного воровского появления стаи под прикрытием черного плаща тучи.

Пернатая саранча расселась на кукурузе и начала яростно выклеивать молочные зерна. Торопясь использовать тучу как черный воровской плащ, птицы рассыпали кукурузу по земле, перелетали с одной чалы на другую, оставляя недоклеванными початки.

Молнии метались по небу, слепя глаза и прикрывая ворон, собирающих с поля дань.

Мальчик увидел, как качнулось от толчка приклада тело Отца. Небо сотряслось новым раскатом такой силы, что выстрел двустволки потонул в нем, и Мальчику показалось даже, что одна ворона от страха сорвалась с чалы и скатилась на землю, шлепая безвольным своим телом о толстые кукурузные листья.

Неестественно шмякнувшись о землю, она тут же подскочила вверх, как проколотый, слегка обмякший мячик и еще там, на подскоке, начала встревоженно вертеть головой на вытянутой по-гусиному шее и, едва коснувшись лапами земли, понеслась меж чалой.

Туча, усердно покровительствовавшая стае, перестаралась, видно, запутала эту несчастную ворону, и тот безотказный сигнал опасности, что спасает птицу от наведенного на нее ружья, загорелся, как видно, только сейчас, между уже прозвучавшим, сбившим ее с чалы выстрелом, и мо-

ментом раздумья Отца, когда он на миг опустил двустволку, решая, стоит ли добивать подраненную птицу или оставить ее умирать в зарослях кукурузы.

Смешно переваливаясь с боку на бок, подсакивая на спотыкающихся о корни кукурузы лапах, Ворона убегала от поднятого в прицеле на нее ружья. Выбрав краткий путь в мнимую безопасность, она ковыляла вперед по вычерченной ее инстинктом самосохранения траектории, волоча по земле растрепанное, безжизненно опущенное крыло. Петляя меж холмиками, она словно путала смерть, путала пулю, нетерпеливо ждущую сигнала в стволе. Волочащееся по земле раненное крыло тормозило бег. Время от времени Ворона, все еще не понимающая, видно, бездейственности своего безотказного ранее крыла, пыталась было взмахнуть им и на мгновение даже останавливала бег, недоуменно поглядывая на него. Потом она снова продолжала спасаться бегом, а волочащееся по земле крыло оставляло жалкую дорожку, предательский след спасительного вороньего пути. Предчувствуя метящий в спину выстрел, раненная птица начала неистово кричать, хлопая себя по телу здоровым крылом и беспомощно раскрывая серо-желтый свой клюв, на краю которого даже после всех падений, криков и беготни держалась прозрачная пленочка – оболочка выклеванного кукурузного семени – отметина недавнего пиршества.

Как звучит выстрел, прицеленный в живое?

А был ли вообще этот первый смертоносный выдох двустволки по вороне?

Здесь уже давно никто не целился в живое. В горах уже ходили на охоту, а здесь ружье подавало голос лишь в праздники, унося в небо радостную весть. Последний раз это ружье говорило, когда родился Мальчик.

Быть может, метаясь в живое, пуля летит вовсе беззвучно, чтобы не пробудить в жертве страх, летящий впереди выстрела и невиданные раскрывающиеся от страха силы само-

сохранения? Сейчас плечо Отца отшатнется от приклада, и бедная, спасающаяся бегством ворона перевернется в воздухе, подстреленная в прыжке, ударится о землю, распластав бесполезные теперь крылья, и беззвучно раскроет свой серо-желтый клюв с прилипшей над ним кожицей кукурузного семени. Кукурузная пленочка – страшная метина, по которой ее теперь мертвую или живую можно различить среди тысяч других ворон. И даже если останется неразряженным ствол, по следу крыла, вычертившему путь ее спасения, можно будет прийти в ее укрытие, где обессиленная серая птица острым клювом счищает запекшуюся кровь со слипшихся перьев и, узнав ее по метине на клюве, прикончить ударом приклада, загнав в угол.

Мальчик видел, как отшатнулось в сторону застывшее в прицеле тело Отца. Огромное, похожее на увеличенную человеческую тень, существо навалилось на него, выхватило из его рук ружье, готовое выстрелить на звук последнего вороньего крика.

Чудовище! Страшное чудовище, порождение этого поля и грозы! Могучая страшная тень с огромной спиной и громадными руками!

...Но как странно, что у тени есть лицо, и пускай черты его едва различимы в многонедельной жесткой щетине, но они различимы не как гримаса злобы и ненависти. В них боль и мольба о сострадании, и маленькие глубоко посаженные глаза горят откуда-то из глубины лица просьбой о пощаде.

Странное существо уже больше не мнет Отца. Человек, а это, конечно же, человек, держит в руках двустволку, держит неуклюже и даже как-то растерянно, словно вот отнял ее, а что делать с ней дальше не знает.

– Живое, – говорит вдруг он, потряхивая двустволкой в огромных руках... – Живое, – умоляюще звучит его голос, словно это оружие, что отнял он у Отца было живое. «Нель-

зя! Не отдам», – двустволка прижата руками к могучей груди, а потом снова: «Живое! – уголки глаз ищут среди чалы подбитую ворону. – Нельзя!»

– Ах, ты уродина! Сумасшедшее создание! Проваливай отсюда, как бы я и тебя не подстрелил! Нашелся, тоже мне, защитник! Господь Бог выискался! – Отец держал в замахе огромный, поднятый с земли камень и говорил нарочито громко, как говорят с детьми, желая напугать их.

Ухватившись двумя руками за стволы, незнакомец размахнулся двустволкой и с громким протяжным криком: «Живо – о – ое!», метнул деревянный приклад о камень.

Камень издал странный стреляющий звук, а незнакомец, отшвырнув в сторону обломок двустволки, словно хотел зажать руками, оставить стремительно расползающиеся по рубашке красные кровяные пятна.

Стало совсем тихо, только срезанные стремительным размахом двустволки кукурузные листья продолжали падать на землю, словно сползая по стволам чалы. Мальчик чувствовал, почти слышал тот крик, что должен был сейчас разнестись над полем. Казалось, что вся боль незнакомца выльется сейчас в страшный крик страдания и ненависти.

– Живое... – прошептал вдруг человек, протягивая к Отцу залитую кровью ладонь с растопыренными пальцами.

Что-то горячее, живое, липкое залило вдруг тело Мальчика. Живот его, словно оторвавшись от него самого, пополз вниз, отяжеленный видом чужой крови, сочившейся почему-то под рубахой из каждой клеточки его собственного тела.

«Значит по живому оно стреляет так же празднично...» – проплыла в голове мысль и оборвалась на половине. Перед глазами опустилась красная, похожая на кровяную пленку мусть, в которой поплыло поле. Отец, замерший в растерянности, и скорчившийся незнакомец, который одной рукой



все еще продолжал зажимать живот, а другой – неуклюже пытался растянуть набухшую от крови рубаху.

Сквозь пелену Мальчик видел судорожно шевелящийся живот незнакомца. От этих судорог на белых, еще не залитых кровью местах рубахи появились алые пятна. Растегнутая рубаха распахнулась сама по себе и из нее, как из кровавой разверзнutoй раны вывалился на землю какой-то живой извивающийся клубок, похожий на вывалившиеся внутренности.

Клубок катался по земле, подползая к ногам Отца, то возвращаясь к незнакомцу, к липкой его окровавленной поверхности прилипли серые колючки и комки земли, которые уже успели набухнуть и пропитаться кровью.

Незнакомец, изрыгнув из своего чрева этот извивающийся в предсмертных судорогах комок, сам отшатнулся было от него, а корчившийся от ран этот страшный сгусток боли, после судорог и предсмертных агоний, вдруг расплелся и пополз к его ногам двумя вываленными в земле окровавленными змеиными телами. Содрогнувшись в последней боли, змеиные тела выплеснули на босые, огрубевшие и израненные ступни незнакомца густеющие капли крови и застыли в неподвижности, словно обнимая в предсмертном порыве его ноги.

– Кар-р... – обессилено выдохнула ворона, обнимая израненным крылом босые ступни Мальчика. – Кар-р! – колющиеся лапы уже топтались по его голым пальцам. Ворона из всех сил подпрыгивала, помогая себе здоровым крылом, стараясь клювом ухватиться за торчащий из штанов угол рубахи.

В густеющей кровавой мути перед глазами все еще продолжали барахтаться змеи, на глазах разбухавшие от багровой липкой жидкости, которая, казалось, была теперь повсюду, и если бы не эта несчастная ворона, Мальчик, наверное, сам захлебнулся бы, запутался в этой пелене.

Спрятав за пазуху раненную птицу, Мальчик бежал через поле, заслоняя рукой лицо от хлещущих жестких кукурузных листьев. Оборвавшийся от страха, отяжелевший живот его согревал теперь мягкий, изредка вздрагивающий от сотрясений комок перьев.

...Но ведь там, оттуда он так трусливо сейчас бежит, остался Отец! Один, безоружный, с ослабевшими от ужаса руками, которыми он не мог удержать даже поднятый им было с земли камень! Там Отец – один на один с этим пропитанным змеиной кровью человеком! Бежать! Нужно быстрее бежать туда! Всплывшее вдруг в памяти страшное видение, заставило Мальчика бежать еще быстрее. Он захлебывался слезами и стыд глодал несчастное, готовое разорваться на кусочки сердце, а невидимые плети окровавленных змеиных тел словно бы хлестали его по пяткам, заставляя бежать к дому.

\* \* \*

По ночам Ворона, наверное, очень громко каркала от страха, сидя взаперти в темном, глухом, заплесневевшем от вечной сырости чулане. Она, конечно же, очень громко каркала, но только этого никто не слышал, потому что никто, кроме Мальчика, не знал, что в чулане живет птица, а он даже сквозь сон слышал иногда ее птичий плач.

В чулане было всегда страшно: и днем, и ночью, а особенно ночью, когда стихали во дворе голоса людей, и в щелочке под дверью затухал маленький лучик дневного солнца. Этот спасительный лучик Мальчик хорошо помнил: забравшись однажды покормить свою ворону, он случайно оказался запертым вместе с ней в чулане. Так он просидел в темноте до самого вечера. Можно было, конечно, кричать, чтобы его освободили оттуда, но тогда Отец решил бы, что он испугался темноты и все узнали бы про Ворону, или

еще и того хуже, подумали бы, что он залез в чулан за вареньем. Такого, правда, никогда не случалось, но давно, еще прошлым летом, когда он дружил с сыном Лада, они вместе с ним лазили к нему в чулан за вареньем, но Мальчик не знал, что они делают такое бесчестное дело, Просто сын Лада, который был немного старше его и намного – хитрее, попросил последить, не идет ли по двору его мать, убиравшая этим временем комнаты в доме, а сам стал открывать каким-то ржавым ключом замок в чулане, попутно объясняя ему вполголоса, что мать ему аджынджыху никогда не дает и что врач в школе прописал ему, длинному, худому и больному, от всех этих болезней съедать каждый день хоть одну маленькую аджынджыху, и что мать не верит им с доктором и прячет ключи от чулана. Мальчик, уяснив, что делает очень полезное дело, стал следить за двором, изредка касаясь за худую, исполосованную выпирающими ребрами спину друга, непрерывно вздрагивающую от нервного ковыряния ржавым ключом в замке, и от всей души жалел его, хотя сын Лада был очень хитрым и уже успел к тому времени несколько раз обхитрить его. Но сейчас все его проделки были почти забыты, жалость не оставила и следа их в доброй душе Мальчика.

Ключ этот, кажется, не подходил к замку, но, чтобы избежать себя, наконец от, бесконечных нервных ковыряний, замок в двери поддался, и дверь чулана распахнулась. Прошло совсем немного времени и худой счастливый друг Мальчика вынырнул из темноты, держа в одной руке горсть аджынжыху, а в другой – уже вскрытую банку варенья. В то же самое время его мать вышла из-за угла апацхи, откуда ее не ждали, неся в руках здоровый узел грязного белья. Даже ничего не спросив у сына и нисколько не удивившись, она принялась бить его узлом белья, ругаясь на своем клокочущем языке. Сын же Лада, одной рукой заслоняясь от ударов, другой указывал на Мальчика, протягивая в его сторону банку ва-

ренья и поминая доктора, который, якобы, прописал Мальчику каждый день по ложке варенья и одну аджынджыху, а мать Мальчика, якобы, запирает все это в чулан.

По тому, что узел с грязным бельем стал скакать по макушке друга еще чаще, Мальчик понял, что вранью не поверили и быстрее побежал домой, стараясь так спасти себя от страшной мысли, что сам только что залез в чужой чулан.

Оказавшись запертым в собственном чулане, он больше всего боялся объяснить домашним появление вороны и поэтому сидел среди банок с вареньем, приправами и аджикой очень тихо. Все равно кто-нибудь когда-нибудь полезет в чулан. Там ведь хранится очень много нужных, но не помещающихся в кухне вещей: подвешенные к потолку мешки с фасолью и орехами – так их сохраняли от мышей, но в фасолевом мешке была дырочка, и когда Мальчик в темноте задел за него головой, оттуда прямо за пазуху посыпались сухие гладкие фасолины и даже выскочил целый неочищенный стручок. Значит мышкам тоже что-то досталось!

В высокие, белеющие в темноте, колонны выстроились новые тарелки, большую часть своей жизни они вот так и простоят в темноте в ожидании больших столов. В самых недоступных местах прятались корзины со стаканами такой же судьбы. Еще в чулане – банки с керосином, большой мамалыжный котел, запас кукурузной крупы, плетенная корзина с куриными яйцами.

Лучик дневного света под дверью начал тускнеть. Отец подошел к двери, позвонев связкой ключей, громко спросил у Мамы, бывшей, видно, в другом конце двора:

– Лейка для вина в чулане?

– В чулане, – ответил издали Мамин голос. – Ой, нет! В апацхе лейка, утром ведь вино брали!

Ключи перестали звенеть у двери – Отец ушел в апацху за лейкой, и это было очень кстати, попадаться засветло здесь на глаза Мальчику не хотелось. Незаметней было, ко-

нечно же, ускользнуть вечером, да и ворона могла каркнуть на свет распахнутой двери. Вот лейка – это уже настоящая зацепка. Если Отец хочет черпать ее вино, значит вечером будут гости. Если до вечера его не хватятся, то потом в чулан Мама обязательно за чем-нибудь придет. Всего, что здесь хранится, кроме Мама, никто и не знает, а для гостей здесь обязательно что-либо особенное припасено.

Ворона никаких признаков ручной птицы не проявляла, забившись под узкие пыльные стеллажи банок, она сидела, растопырив крылья, наклонив к земле голову и разинув клюв, как это делают, готовясь к обороне, загнанные хищники. Схватить ее там не представляло большого труда, и вот уже она в руках извивалась, царапалась лапами и все время норовила клюнуть Мальчика, Чтобы в другой раз не искать птицу по чулану, Мальчик посадил ее под большую старую корзину, которой обычно Мама накрывает наседку с цыплятами. Поскакав под плетушкой, ворона успокоилась, а Мальчик сел на перевернутый мамалыжный котел и стал терпеливо ждать своего освобождения.

Дома его так и не хватились.

– Хумач! Эй, Хумач! – позвала несколько раз Мама и, не дождавшись тогда ответа, больше его не спрашивала. Видно, он был ей тогда зачем-то нужен и думала, что он убежал со двора поиграть где-либо... Разве она могла подумать, что ее сын уже полдня сидит в чулане?! К вечеру же она совсем забегалась, готовясь встретить гостей, и ей уже было совсем не до него.

Освобождение произошло совсем неожиданно: перепуганные куры забились в курятнике, когда Отец ловил их для гостей. Мальчик живо представил их обваренными в кипятке, ошипанными, но все еще продолжавшими скакать с отрубленными головами.

– Не режьте их! Не режьте! – закричал он, позабыв обо всем на свете. Мать отперла чулан и, вытирая краем фарту-

ка заплаканное лицо сына, сама расстроенная и уставшая от его бесконечных слез, оплакиваний кур, жуков, сорняков и улиток, пообещала завтра же пригласить Накуа – знахарку. Мама вытащила Мальчика за руку из чулана, забыв от расстройства даже спросить, что он там делал.

Ворона на распахнутую дверь не каркнула под своей корзиной, но Мальчик теперь хорошо знал, как ей страшно сидеть одной в темном чулане, особенно, наверное, по ночам.

Ночью ему снилось, как мечется под корзиной запертая в чулане Ворона, кидается на прутья, стучит клювом, а потом падает на пол и долго сидит нахохлившись, отставив в сторону свое незаживающее крыло. Однажды во сне Мальчик увидел, как Ворона грудью бросилась на корзину, оставила на прутьях серые окровавленные перья и, рухнув на пол, так и осталась лежать в неподвижности, поджав под себя лапы.

Мама, как всегда, вошла в его сон вовремя, когда Мальчик уже готов был закричать от обиды и жалости. Мама ласковыми руками погладила его по голове, и кошмарный сон тут же исчез. Обхватив Мать за шею, крепко целуя ее и обливая ее лицо своими горячими слезами жгучей жалости к томящемуся в чулане существу, быстрым шепотом Мальчик рассказал Матери о Вороне:

– Мама, Мамочка! – лепетал он, все еще не надеясь на чудо поселить Ворону в своей комнате. – Ты никому не говори, я буду спать в чулане. Только ты никому не говори. Она клевала зерна на поле. Там были Отец и мужчина, у которого змеи в животе... Ей там страшно одной. Она кричит от страха, только вы не слышите, а я слышу, Я не могу спать, когда она там. В чулане страшно, я знаю, там очень страшно. Она же такая маленькая, раненная и беззащитная. Только ты никому не говори, что я буду там спать. Я не могу так больше!

У Мальчика был жар. Мать уложила его в постель, дала мед и ежевичное варенье. Приняв слова сына за вызванный болезненным жаром бред, она перестала думать о раненной птице, едва узнав о ее существовании. Больше ее заботил сын с его фантазиями и болезнью.

Вечером другого дня, разбираясь в чулане, она наткнулась на перевернутую плетушку и, отодвинув ее, увидела Ворону, ошaleвшую от двухдневного голода, с оттопыренным больным крылом. Птица бросилась в ноги женщине.

Вечером, рассказав все мужу, Мать стала просить его разрешить поселить Ворону в комнате сына, сама еще не ясно сознавая, правильно ли она делает, оставляя в доме эту птицу, быть может, ставшую причиной болезни ее сына. Ворона – птица коварная, люди в селе не очень-то жалуют ее.

Отец, вернувшись, домой раздраженным, уставшим больше обычного, безразлично макал мамалыгу в подливу, не замечая робко подвигаемой ему женой тарелки с фасолью. От пережитого накануне он не чувствовал вкуса еды,

– Делай, что хочешь! – зло сказал он, попав, наконец, мамалыгой в фасоль. Хочешь в доме ее держать, держи! Большой беды чем есть, она все равно не накарает.

Вечером этого же дня, когда Мальчик уже спал, Ворона была переселена в дом и привязана за лапку к ножке его кровати.

То, что случилось сегодня днем, случилось в общем-то давно, еще когда их сосед – переселенец Лад занял кусок считавшейся ничейной, но всегда в сознании людей принадлежащей прадеду Мальчика земли. Земли этой было так мало, что Отец Мальчика поначалу очень сомневался, что какая – либо семья сможет на ней прокормиться, но появился сам Лад, его крикливая жена, потом дети, и с утра до ночи работая на этом клочке земли, которого было чуть больше, чем могли они обхватить все вместе, раскинув в стороны руки, не давая отдыха ни себе, ни огороду, рабо-

тая от зари до зари, да еще прирабатывая на его собственном поле, они постепенно зажили не хуже всех остальных и даже перестроили свой казенный дом на сваях из трех комнат на новый двухэтажный.

Где-то на том клочке земли покоились кости прадеда Мальчика, но места этого ни Отец, ни кто другой не помнил. Время постепенно сравнило с землей могильный холмик, а по-другому в те стародавние времена никто места погребения не отмечал.

Узнав о переселенце, он кинулся было искать потерянную могилу, намереваясь перезахоронить кости деда рядом со своими матерью и отцом на фамильном кладбище, но память, цепко державшая в себе образ деда, жилистого, мудрого, рассудительного старика, каким тот остался тогда в его ребящем воображении, наотрез отказывалась хранить какую-либо мельчащую зацепку о месте его погребения. Долгие годы его терзала мысль, что каждую весну плуг Лада перепахивает кости его предка, а вчера Лад сам пришел к нему в дом и после долгой вступительной беседы рассказал, что наткнулся у себя во дворе на человеческие кости.

– Что же у тебя кости по двору разбросаны? – с ехидцей переспросил Отец, уже смутно чувствуя развязку этого разговора,

– Нет, – почему-то смущенно ответил Лад, – Я, знаешь ли, яму под отхожее место рыть стал и наткнулся на них.

Отец накрыл кости деда простыней, попросил Лада до утра ничего не трогать, на что Лад поспешно ответил: «Конечно, конечно, сосед! Как можно!»

Поэтому-то и безразлична была ему эта Ворона, о которой все время говорила за ужином жена, двигая ему тарелку с фасолью.

Уже оставшись в апацхе один, сидя за пустым столом, он думал, сколько простых, привычных вещей не стыкуются порой в сознании: «Год мы не снимаем траура по покой-



ному, можем до десятого колена вычислить свое родство, а могилы дальше своего отца не помним, на земле их никак, кроме холмов да деревянных кольев, не отмечаем. Холм что та же земля – рассыплется прах человека и холм в яму превратится».

Утром Ворона встретила рассвет радостным «Кар!» Мальчик спал. Сон выздоравливающего крепок. Жизнерадостное «Кар!» вылетело через распахнутое окно дома и, прокатившись до края двора, где Отец и дядя Бахуд зарывали на семейном кладбище кости прадеда Мальчика, понеслось дальше.

– Что это у тебя в доме ворона что ли живет? – спросил дядя Бахуд.

– Да, – безразлично ответил Отец.

– Вот и накаркала беду.

– До нее накаркали.

\* \* \*

Просыпаясь по утрам, Мальчик первым делом свешивал голову под кровать и сам приветствовал Ворону:

– Кар-р-р!

– Кар! – отвечала из темноты птица, а потом оттуда слышалось осторожное – Цок, цок, цок, – быстро стучали по полу острые коготки. Серая птичья голова, с прозрачными бусинками всегда удивленных глаз, высывалась из полумрака и беспокойно вертелась на шее, ища вокруг себя источник карканья.

– Кар! Кар! – весело повторял Мальчик, свесившись с кровати еще ниже так, что вихор его густых волос касался пола.

— Цок-цок-цок! – Ворона вышла на свет, вывернула голову клювом вверх. Всегда удивленные глаза смотрели теперь особенно удивленно.

– Карр-р! – трубила птица, вытягивая вверх свое здоровое крыло, словно потягиваясь ото сна, – Ка-а-р-р! – а потом снова цок-цок-цок! – скакала ближе к Мальчику, а тот убирал голову, и вихор, описав полукруг в воздухе, шлепался челкой на лоб.

«Цок-цок-цок», а потом «Кар!» – это веревка тянет за лапу и не пускает к Мальчику. «Цок...цок...цок...» – прыгает Ворона на одном месте, а больное крыло тянет вниз.

– Не скачи, не скачи. Сейчас я отвяжу тебя. – Мальчик соскакивает на пол с пышной периновой горы, отвязывает нетерпеливо скачущую Ворону и, как есть, в рубашке на голое тело, босиком бежит скорее к апацхе кормить ее.

Ворона очень любит клевать тонкую хрустящую пленочку, что засыхает на краю мамалыжного котла. Зажав ее в клюве, птица принимается мотать головой и бегать по комнате, пока не искрошит и не истолчет корочку на кусочки, а потом ходит и клюет на полу крошки. Мама не очень ругается, когда Мальчик приносит птицу в апацху, так как он не может носить кукурузное лакомство Вороне в дом. Сколько раз уже пробовал: наберет целую руку кукурузных корочек, а пока донесет, они все съедаются на дороге.

Мальчик мог долго-долго смотреть на Маму, когда та мешала в котле мамалыгу. Сначала она ее просто мешает и почти не смотрит на котел, чаще она смотрит тогда на Мальчика, но глаза ее говорят о чем-то постороннем, с мамалыгой ничем не связанным, например: «Когда же ты у меня вырастешь?» – или «Где же ты так простыл?» – а в последнее время еще – «Опять, наверное, Ворону в апацху принес? Сдалась же она тебе?!»

Мама сыпала в воду просеяную муку и размешивала ее лопаткой так долго, что Мальчику даже казалось, что ей доставляет особое удовольствие разгонять по котлу белые крупинки кукурузы, заставляя их вертеться все быстрее, набухать, напиваться влагой. И вот уже «Уф! Уф! Уф!» – под-

нимаются на поверхность и лопаются бесконечные густые пузырьки воздуха, которым все труднее и труднее пробиваться со дна сквозь густеющую мамалыгу. Мама внимательно смотрит в котел, вымешивает мамалыгу лопаткой, потом поднимает голову на Мальчика, и глаза ее спрашивают: «Ты думаешь это мамалыга? Нет, это еще не мамалыга. Она еще впереди!» Потом, высмотрев что-то в этом булькающем живом, мамалыжном теле, она, зачерпнув миской мелкой муки, высыпает ее в котел и пытается взбить ее с булькающими пузырьками.

«Пуф! Пуф! Пуф!» – сопротивляется вареная кукурузная крупа, не понимая, видно, что без этой мелкой муки никогда не стать ей настоящей мамалыгой. Еще минуту и можно будет снимать со стенок котла первые подсохшие корочки любимого кукурузного лакомства.

Так было всегда. Сегодня Мама поворачивает к Мальчику удивленное лицо. Ворона, выскочив из-за пазухи, начинает ходить по апацхе, вычерчивая повисшим своим крылом круг у очага. Круг этот вот-вот замкнется на Маме, сделает она шаг вперед – окажется в центре, шагнет назад – выйдет за его пределы.

– Этого еще не хватало! – Мама берется за веник и выметает из апацхи рассыпанную кукурузную муку и Воронины вензеля.

Едва успев выздороветь, Мальчик принялся разгадывать одну большую домашнюю тайну. Еще в первый день, встав в постели, он понял, что в доме у них кто-то поселился. Кто-то большой, незнакомый и очень неприятный, что стало сразу же ясно по каким-то неуловимым признакам. И Мама, и Отец знали, вероятно, о нем, а если и не знали, то догадывались наверняка, только ни Мальчику, ни друг другу об этом не говорили. Так каждый догадывался и молчал. Разгадка тайны и заключалась как раз в том, чтобы найти этого тайного поселенца. Переходя из комнаты в комнату,

заглядывая за двери, залезая под кровати, просовывая голову в тайники шкафов, Мальчик все время искал этого таинственного жильца и никак не находил. Вслед за ним ходила Ворона. Иногда Мальчик закрывал глаза и пытался представить себе, как будет выглядеть этот неожиданный гость, и в сознании его возникал человек с грустным, подавленным выражением лица, со сгорбленной спиной, опущенными, словно под тяжестью какой-то ноши, плечами. Глаза его иногда даже просматривались сквозь залитое дождем оконное стекло, или из темного угла чулана. Тогда казалось, что это был вовсе и не человек, а что-то таинственное, хмурое, унылое с грустными человеческими глазами. Когда Мальчик пытался представить себе голос этого существа, то он начинал скрежетать, как ползающая по чугунной сковородке вилка или царапающий оконное стекло железный прут. А если же Мальчик заставлял себя представить человеческий голос, то это был голос, оплакивающий что-то.

Поселенец этот, как горький дым, пропитал собою все: постельное белье в спальне, стареющие листья сада, упавшие червивые груши, платье Мамы, ее волосы, руки, кажется, даже взгляд и протяжный, тяжелый вздох Отца.

Присев на ступеньки крыльца, Мальчик обнял руками голые свои коленки, положил на них голову и стал неотрывно следить за Вороной, бродящей по двору. Казалось, что только она не успела еще пропитаться этим таинственным грустным дымом, каркает себе целый день, клюет дробленное зерно кукурузы, шагает вслед за Мальчиком как привязанная и смотрит на все своими вечно удивленными глазами.

Даже тетя Амра, жена дяди Бахуда, чувствует, кажется, присутствие этого странного существа. Раньше она могла болтать без умолку целый вечер напролет, пока Мама делала что-либо по дому, да не просто болтать, а еще и помогать возьмется: рассыпет в юбке фасоль и перебирает ее, не гля-

дя. На черном ее платье рисунок из белых и желтых горошин, и фасоль в подоле такая же. Вот она с Мамой быстро-быстро говорит о чем-то, а руками фасолины в две миски сортирует; в правую – хорошую, а в левую – порченную. И не смотрит даже туда, руки сами будто фасолины эти от горошин на платье отличают, да еще какая в лобию, а какая на выброс разобрать успевают.

Один раз тетя Амра вот так говорила, говорила, потом вдруг на дверь посмотрела, а на пороге апацхи Ворона с перевязанным крылом стоит, и только тетя Амра рот от удивления открыть успела, а Ворона ей «Кар!». У тетя Амры фасоль из подола на пол так и посыпалась градом. Ворона сама перепугалась, бежит по кухне кругами, здоровым крылом себя по боку хлопает и каркает, а у тети Амры фасоль из подола все сыпется, а она никак сообразить не может, что ей с юбкой сделать, чтобы град этот фасолевый остановить.

Теперь тетя Амра, когда в дом приходит, словно и сама этот странный дым чувствовать начинает: посидит на краешке скамейки в апацхе, говорит с Мамой тихонечко и уходит так незаметно, и вид у нее такой, будто боится она сама этим дымом пропитаться и унести его в свой дом. И разговор их с Мамой тоскливый какой-то, как будто в селе новостей нет: «Предчувствие... Предчувствие...»

Предчувствие – это что? Это то, что бывает перед чувством? Но ведь перед чувством ничего не бывает. Сначала почувствуешь что-то, потом оно уже случится, а если этих предчувствий бояться, словно они уже и есть что-то страшное.

Так что же есть предчувствие?

Тоска. Сидишь на ступеньках, смотришь, как беззаботно скачет по двору Ворона и начинаешь понимать, что тоска эта живет внутри тебя и, наверное, внутри Мамы, и в Отце, а вот в тете Амре ее пока нет и она, похоже, боится, что тоска эта заползет и в нее. Только Ворона ничего не боится.

Нет, не видно, в ней этой гнетущей муки. А, может быть, в ней мук вообще, никаких нет, кроме тяжелой боли в крыле? За это «безмучие» все они и не любят Ворону, считают лишней, ненужной, даже зловещей какой-то.

\* \* \*

Еще с вечера Мама жаловалась на ломоту и слабость во всем теле. «Тело стонет», – говорила она, медленно опускаясь за выпавшей из рук косынкой. Раньше Мальчик вообще никогда не видел, чтобы у нее что-то падало из рук. Ему показалось, что прошло бесконечно много времени, прежде чем белый лоскуток платка, распластавшийся по бетонному полу апацхи, подрагивая тонким своим телом, не прополз вверх и не повис, наконец, в опущенных маминых руках.

Каждая туго натянутая струна когда-нибудь рвется. Ты еще только берешь за ее концы, еще только разводишь в стороны руки, а в ушах уже стоит этот свистящий звук разлетевшихся в разные стороны, избивающих воздух обрывков. Ты ждешь это, но случается обрыв всегда неожиданно, хлещет по рукам концами ослабевшей от напряжения струны, разлетаются в немом удивлении руки, которым теперь нечего натягивать... «Как? Что случилось? Порвалась? А ведь такой крепкой казалась, прямо вечной!»

Утром, спасаясь от преследований петуха, через весь двор бежала пестрая курица. Мама как раз почему-то смотрела на нее, хотя в другие дни у нее на это просто не бывает времени, но с утра она жаловалась через забор тете Амре на то, что за ночь совсем не успела отдохнуть, и теперь время от времени она останавливалась посреди своих дел, минутку передыхая и замечая попутно все, что творится вокруг, вчера еще творившееся вне ее суетных забот. Так было и с убегающей курицей, которую видела уже с утра уставшая

Мама, проснувшийся сидящий у окна Мальчик и прыгающая по подоконнику Ворона.

Загребая лапами песок на пути, распушив в гневе и возмущении перья, курица убегала от петуха по направлению к забору, под которым зияла спасительная дыра, в которой блестели влажные от утренней росы заросли садовой травы. Зеленая эта растительная стена готова была принять разогнувшуюся в беге курицу.

Маме было все равно, как закончится эта ежедневно повторяющаяся погоня. Мальчик ежился, представляя, как голые куриные лапы окунутся в холодную, даже разбухшую от росы траву. Курица же, достигнув спасительной дыры, распласталась по земле, нырнула под забор, там, в зарослях отряхнула вываленные в пыли перья, но забираться далеко в траву не стала. Курица теперь прохаживалась вдоль проволочной ограды, изредка поглядывая на петуха, уже понывшего свой проигрыш и теперь безразлично ковылявшего через двор в обратном направлении.

Раскинув в сторону крылья, распутив перья, курица ястребом взвилась на забор, вытянула вперед шею, хлопнула себя по бокам крыльями и прокукарекала хрипло, надрывно, так, словно прохохотала издевательства, словно выплюнула этот хохот вдогонку опозоренному петуху. Этим издевательски копирующим его криком она как бы заставляла его обернуться и снова попытаться догнать себя, вышедшую из всякого повиновения пеструю курицу, гордо сидящую на заборе с нагло распущенными перьями. Попытаться догнать ее хотя бы для того, чтобы клянуть ее в голову, заставить навсегда забыть гордую петушиную песню, не орать с забора не своим голосом на весь двор, не копировать, не поганить того, чего самой не дала природа. Но петух, как затравленная собаками, ощипанная, взъерошенная перепелка, этот петух – хозяин всего куриного гарема, гроза всех соседских петухов и отец всех окрестных

цыпляют, загребая желтыми лапами песок, волоча свой поникший хвост, неся через двор, расталкивая в беге всех попадавшихся под ноги кур, стремительным бегом умножал свой позор. Крупные мускулистые ноги его работали как гигантские рычаги, грязно-желтые скрюченные пальцы ног хватали на бегу мелкие камешки и с силой выталкивали их назад: «Вот тебе! Вот тебе, обнаглевшая курица!» Курица же тем временем продолжала уродливо кукарекать на заборе. «Вот тебе! Вот тебе!» – уносил ноги обезумевший от сложной смеси удивления и страха петух, так ни разу и не осмелившийся обернуться на обидчицу, которую природа наделила таким противным голосом и такими крепкими крыльями, что сколько ни надрывалась она, ни хлопала, ни старалась изогнуть их, чтобы вот так, подбоченясь, завершить петушиный позор, так не сломались и не изогнулись до конца...

Добежав до забора соседского двора, поверженный петух принялся метаться вперед-назад вдоль сетки, нервно тычась клювом в ограждение. Потом найдя в углу спасительный лаз, такой маленький и незаметный, что соваться туда вообще было рискованно, грудью метнулся в щелочку, расплющился, распластался, наверное, тоньше собственного пера и вынырнул уже на соседском дворе из росного бурьяна, мокрый, жалкий и даже пощипанный забором, с обвисшим вконец хвостом, он кинулся в сторону курятника тети Амры.

– Ку-ка-ре-ку! – в последний раз проорала курица и, рухнув в садовую траву, поплелась куда – то в ежевичные дебри с видом полного безразличия и потери интереса к тому, что будет после. А потом было вот что:

– А-а-а-а-а-а-а! – вдруг заголосила тетя Амра, которая, оказывается, тоже наблюдала за этой сценой с границы своего двора. – А-а-а-а-а! Мадина, мы несчастные! Проклятье свалилось на наши головы! А-а-а-а-а!



Мадина – Мама Мальчика, услышав свое имя, словно очнулась вдруг от нескончаемой, своей усталости, мигом прокрутила в памяти все произошедшие минуту назад события и сразу же бросилась к распахнутому окну, из которого выглядывал только что проснувшийся Мальчик. Вынув сына из дома, как из огня, она прижала его к себе и начала быстро-быстро целовать.

– Что ты делаешь? – кричала тетя Амра, мечущаяся вдоль забора в поисках потерявшейся вдруг калитки, как минуту назад метался поверженный петух. – Что ты делаешь?! Оставь его, оставь сейчас же. Курицу лови, курицу! – Наконец-то тетя Амра нащупала руками калитку, соединяющую их дворы и, прорвавшись сквозь забор, уже бежала к их саду, где в ежевичных зарослях спряталось проклятье – пестрая курица. – Лови ее, тебе говорю, а Мальчик пускай за Накуа бежит. Здесь без нее никак не обойтись!

Мальчик бежал по селу к Накуа, забыв обо всем на свете: о том, что камни царапают босые ноги, о голом своем животе, на который не успел даже натянуть впопыхах рубаху, забыв о Вороне, которая поначалу пыталась было поспеть за ним, но отстала где-то, забилась от страха в траву под чужим забором.

Все его мысли, чувства и желания слились теперь в одно: бежать, бежать как можно быстрее к Накуа – знахарке, потому что дома случилось что-то страшное. Сам он ничего страшного в кукареканье пестрой курицы не усмотрел, но если тетя Амра, быстрая в работе, но чинная и медлительная до всех остальных своих движениях, тетя Амра как ошпаренная, бросилась ловить курицу, значит, случилось действительно нечто ужасное. Мальчик бежал по каменистой дороге, а в голове, как в сосуде каком-то, плескался образ неоформленной мысли о всем случившемся и, наверное, именно от быстрой беготни и от острых колючек под пятками, которые он начал чувствовать, мысль эта никак не мог-

ла собраться в единый комок и вылиться в какую-нибудь мало-мальски понятную фразу, произнеси он которую, и Накуа сразу же станет ясно, что произошло что-то страшное. Но от бега и острых колючек мысль эта все плескалась в голове – сосуде, билась о его стенки и рассыпалась на какие-то отдельные, и кажется, ничем не связанные между собой слова «тетя Амра», «курица» и вдруг «моя Ворона потерялась».

Ворвавшись во двор Накуа, насмерть напугав старушку, копавшуюся в своем огороде, он выдохнул осколочки этой своей так и неоформившейся мысли, а чтобы сыпались они из него быстрее и понятней, Мальчик даже нагнулся, слегка вытягивая вперед шею. Так он прокричал самую суть случившегося, которая никак не собиралась у него в голове:

– Курица! Закукарекала!

Накуа подняла на него глаза и несколько секунд изучала мальчика, странного, полуодетого, запыхавшегося от бега. А изучив, она решила пойти, видно, с ним и посмотреть, что же случилось на самом деле.

Все движения Накуа были плавны, неторопливо, как бы заранее запланированы. Сначала нескончаемо долго, пока не исчерпались все запасы воды в умывальнике, она мыла руки, причем сначала просто держала в раскрытых ладонях носик умывальника, выцеживая тонкую прозрачную струйку и следя глазами, как крупные водяные капли катятся по оголенным рукам и прячутся у локтя в отворотах ее неизменного черного платья, а потом вдруг, словно спохватившись, взялась за мыло и еще очень долго перекадывала белый гладкий, пахнущий умирающими на солнце цветами обмылок из ладони в ладонь, не прекращая время от времени тереть металлический носик умывальника, который позвякивал все громче и громче.

«Сейчас вся вода кончится», – едва успел подумать Мальчик, как носик умывальника подпрыгнул в последний раз и

звякнул особенно звонко, словно проговорив «Все!» Ладони Накуа попытались выжать из опустевшего умывальника колокольчика еще какие-то капли, но тот тут же раздраженно пропел еще раз «Все! Все! Все!» и замолк окончательно, безжизненно повиснув над белой раковиной. Накуа посмотрела на свои намыленные ладони, потом развела мокрыми руками, как бы говоря: «Так идти нельзя, хоть бы ваша пестрая курица и залаяла еще вдобавок».

В глубоком голубом тазу на поверхности воды цвета неба плавал легкий белый кораблик – пластмассовый ковшик.

Поливая из ковшика на руки Накуа, Мальчик тоскливо заглядывал в таз, стараясь угадать, скоро ли станет видно обманчивое дно. Чтобы вода кончилась побыстрее, он стал торопливо опрокидывать белый ковшик в ладони старушки одним мощным голубым водопроводом и сразу же топить пластмассовый кораблик в тазу, прислушиваясь, не ударились ли уже дно о металл таза.

– Не торопись. Куда спешишь? – спокойно спросила Накуа, убирая вдруг ладони из-под нетерпеливого водопада. – Воды много. Вон еще целый колодец. Всю все равно не пере-черпаешь.

Потом она еще так же долго вытирала полотенцем руки, словно стараясь достать до каждой закатившейся за рукав капли, потом пристраивала на крючок в глубине апацхи свой темно-синий фартук, перевязывала на голове шерстяной платок, носимый и в жару, и в стужу, и лишь после всей этой череды маленьких, но очень долгих событий повела, наконец, Мальчика через двор к воротам, но у крыльца дома снова остановилась. Из разнообразной обуви, стоящей на ступеньках, она выбрала пару маленьких тапочек своего внука, обула в них Мальчика и, вкладывая его мягкие пальцы в свою шершавую ладонь, сказала тихо-тихо со вздохом.

– Пойдем к твоей курице.

Где-то на половине пути от дома Накуа к дому Мальчика из-под забора на тропинку высочила Ворона. Волоча по пыли размотавшуюся на раненом крыле тряпицу с налипшими на нее колючками, птица поковыляла навстречу Мальчику. Появление ее стало для Мальчика какой-то точкой отсчета, с которой вдруг в памяти стали восстанавливаться все случившиеся события: от потери Вороны до преследования петухом пестрой курицы. Припомнив все случившееся, Мальчик хотел было рассказать Накуа все с мельчайшими подробностями, вроде тети Амры, лихорадочно ищущей калитку в заборе, но впереди показался их дом, и Мальчик вовремя решил, что торопиться и комкать сейчас рассказ не стоит и что теперь Мама, а в особенности тетя Амра, расскажут все очень хорошо, да еще с такими подробностями, которые он и не помнит. Накуа сразу же пошла через двор к апацхе, а Мальчик подождал еще немного, пока подойдет торопливо шагающая по тропинке Ворона, закрыл за ней калитку, схватил птицу на руки и бросился бежать вслед за старушкой, чтобы не пропустить ничего из того, что будет происходить в апацхе.

Нахохлившись, втянув в себя по-черепашьи голову, связанная курица лежала посреди апацхи, а в двух противоположных углах сидели Мама и тетя Амра, неотрывно наблюдавшие за ней и как бы выжидавшие, что эта странная курица еще вытворит.

– Я стояла у забора, – сразу же начала тетя Амра, едва дождавшись, когда Накуа сядет на приготовленный для нее стул. – Так вот, я стою, значит, у забора и вижу: курица через весь двор бежит от петуха. Это их, конечно, птичье дело, но мне это с самого начала как-то не понравилось: и бежит, думаю, эта курица как-то не так, и на забор, задрав хвост как-то странно взлетает, а уж что потом сотворила, просто уму непостижимо!

Накуа подождала, видно, пока у тети Амры кончится запас дыхания, на котором она вознамерилась было произнести большую часть заготовленной речи, и тихим своим голосом влилась в бурный поток ее слов:

– Знаю я. Мальчик все мне рассказал.

Мальчик только успел подумать, что он рассказал Накуа, как тетя Амра, которая уже набрала новую порцию воздуха и теперь часто, обиженно моргала глазами, не зная, куда его израсходовать, поскольку Накуа уже все знала, метнула на него молнию взгляда, в котором в одно мгновение пронеслись все выражения, призванные сопровождать несостоявшийся рассказ. Напоследок она выплеснула в воцарившуюся в апацхе тишину ее собственное заключение из событий:

– Я всегда говорила: Ворона в доме до добра не доведет.

«До чего же тогда доведет Ворона?» – подумал Мальчик, внимательно наблюдая, как связанная курица следит за разгуливающей рядом с ней Вороной. «Почему Ворона должна до чего – то обязательно доводить? Что мы-сами без нее куда надо не дойдем, что ли?»

Ворона, не смея подойти к нахохлившейся курице ближе того расстояния, чем она сама себе определила, выписывала вокруг связанной птицы полукруги, Курица же, сжавшись еще больше, нервно отворачивала голову от Вороны, как только та, волоча по полу свое незаживающее крыло, появлялась в поле ее зрения,

– Скажи нам, Накуа, – тихо спросила Мама, легко вздохнувшая от внезапной радости, что ей ничего теперь не нужно объяснять, – Что стряслось с нашей курицей? Не больна ли она и не заразит ли своей дурью остальных кур?

– Да, да! – поспешила вставить тетя Амра. – А тот несчастный петух в мой курятник помчался.

– Не бойся, Амра, – успокоила ее Накуа, – Твоих кур тот петух не заразит, потому как они, как и все остальные куры, и без того уже давно больны.

На лице тети Амры застыло выражение удивления, граничащего с ужасом.

– Да, да, – продолжала Накуа. – С тех пор, как вместо чистотой кукурузы стали давать птице комбикорм, пошли куриные поколения одно слабее другого, и уж совсем плохо эта еда на петухов действует. Петух, он ведь, как любой другой мужчина, всегда слабее женщины. Если, конечно, дело не на войне происходит, то от любой болячки так изнашивается, что как маленького ребенка жалеть его начинаешь. Ослабел петух, ослабел от такой еды, что и говорить. Да что петух! Вы мужей своих попробуйте мамалыги лишить и другой пищи, что прадеды их веками ели, вот тогда и посмотрите, что с ними станется.

Ну, вернемся к нашему петуху. Коль уж он петухом быть перестал, то кто-то же место его под солнцем занять должен. Вот курица и взялась петя по-петушину. А что ей еще делать оставалось?! Думаете, она сама рада, что петух в ее дворе такой?!

– Эх! Вот и я, – старая Накуа оговорила, – курицу, а не петуха хозяйкой двора нарекла. Ну, да ладно. Наверное, к тому оно и идет.

Курица же, как скромная героиня смуты, скромно сидела на своем месте посреди апацхи, поджав лапы. Устав следить за Вороной, она прикрыла глаза и еще больше втянула в себя голову, словно происходящее не касается ее и даже утомляет, стараясь таким образом уйти от мира, в котором сейчас творится суд над ее поведением, стараясь не слышать ни разговоров, ни приговоров, подозревая, вероятно, что из связанного ее положения выход теперь один.

– Однако, Накуа, – робко заметила тетя Амра, – за другими курами мы таких странностей не замечали. Пока.

Старушка не обиделась на сомнение. Из многолетнего и многотрудного своего опыта она знала, что разрешить сомнения эти до конца сейчас можно только куриной смертью.

«Пускай, – подумала она, – Пускай... Все равно ей когда-либо быть зарезанной, этой пестрой курице – возмутительнице спокойствия. Пускай сейчас... Раз уж я здесь, одним сомнением не обойдется. Зарежут ее, и мне не придется больше рядить свою истину в новые одежды».

– Можно посмотреть на грудную кость курицы... если хотите. По грудной кости можно увидеть все, если, конечно, умеешь, смотреть истину на грудной кости.

– Нет! Не хотим! – закричал, вдруг Мальчик, ясно представив себе, как прыгнет по двору топором обезглавленная курица, с рыжими от крови перьями. – Мы не хотим! Не хотим, чтобы ее убивали, – Мальчик уже давно понял, что ничего страшного не произошло и что самое ужасное предстоит впереди. – Не убивайте ее! Ну и что из того, что она закукарекала! Накуа, скажи, чтобы ее не убивали! – мальчик уже кричал, а Амра, схватив его в охапку, шла через двор к дому, чтобы в самый ответственный момент уложить в постель.

– Он, наверно, болен, Накуа, – донесся до Мальчика голос Мама, обращенный к старушке. – Я прямо не знаю, что с ним делать. Мальчик не успевает отправиться от одной своей трагедии, как уже страдает от другой: поваленное дерево, сорняки, куры с отрубленными головами – мука какая-то...

«Все на этом свете есть мука, – подумала Накуа, глядя на задыхающегося от истерики Мальчика. – Можно ли сотворить одну зыбкую истину из двух желаний успокоения и одного разорванного горем сердца ребенка?»

– Амра, отпусти Мальчика. Мадина, дай мне сюда курицу. Мы не будем ее резать. Есть еще один верный способ узнать правду. Хумач, помоги мне привязать курицу к ветке инжира. Пускай эта моя одежда истины не так таинственна, но в складках ее будет скрыто больше пользы, чем в наваре от этой курицы.

Раскручивая на ветке инжира привязанную за ногу курицу, Накуа словно раскручивала клубок, намотанный опытом ее жизни мыслей: «Нужно дать им возможность поволноваться между ожиданием покоя и предчувствием несчастья, чтобы желаемый покой стал наградой за все волнения. Заставить поволноваться, а потом указать случаю на покой. Случаю они поверят».

Привязанная за левую ногу к заведомо наклоненной в правую сторону ветке птица вела себя на удивление спокойно. Накуа еще раз окинула взглядом всех ожидавших развязки зрителей ее спектакля, как бы убеждаясь, достаточно ли ожидания в их глазах и сможет ли оно сразу без всяких неожиданных сомнений перерасти в ожидаемый покой.

– Если она завертится влево, то все, о чем она тут закукарекала, сбудется, а если вправо, то все будет как и прежде.

Умирая от томительного ожидания несчастий, женщины смотрели на пеструю курицу, силой сопротивления собственному ужасу заставляя ее вертеться именно вправо, куда она, собственно, должна была вертеться, заведомо будучи привязанной за левую ногу в склоненной в нужном направлении инжировой веточке, да еще если незаметно подтолкнуть ее куда следует.

По тому, какой взгляд тетя Амра кинула на Мадину, и по тому, как обе они посмотрели на курицу, Накуа поняла, что курицу зарежут, но теперь это сделают тихо, тайно от Мальчика.

«Пускай режут, – безразлично подумала Накуа. – Я устала переводить истины на язык всепонимания, раскладывать их на слова». Убедив всех в безмятежности грядущего, старушка села на скамеечку под инжировым деревом, спрятавшись от полуденного солнца в его тени, как в покое, который только что вернула этому дому и который разлился теперь, кажется, и на нее. Держа Ворону на коленях, Мальчик сидел на крыльце дома напротив старушки и тихонько рассказывал птице:



– Когда Накуа была маленькой, она всегда пряталась от солнца, поэтому она так навсегда маленькой и осталась. Со-старилась, а все равно ростом как маленькая девочка. У нее все платья черные и все платки большие и теплые и до бровей ее закутывают. А глаза у нее очень добрые и сама она добрая. Не дала курицу зарезать. – Потом Мальчик опустил Ворону на землю и, продолжая глядеть на Накуа, склонившую голову к инжиру и опустившую на колени свои сморщенные, по-детски маленькие руки, рассказывал птице о многих, придуманных им тут же замечательных благородных делах старушки.

Голодная, некормленная еще со вчерашнего вечера Ворона в поисках пищи добрела до кухни, увидела там, как ошипывают обезглавленную, уже обваренную в кипятке курицу, как котенок тети Амры, всюду следовавший за ней, тычется там в лужицу куриной крови, не зная, что делать с отрубленной куриной головой, валяющейся здесь же. Инстинктивно этот густой терпкий запах крови притягивал его, но в животе булькало молоко, которого у его матери было на всех шестерых котят вдоволь, а ему – единственному, оставшемуся в живых, выбранному судьбой в лице тети Амры, было даже с избытком. В наполненном, округлившемся животе булькало молоко и совсем не было места для куриной головы, и поэтому котенок начал катать ее лапой по апацхе.

Ворона же тем временем вернулась к Мальчику, карканьем встречая его рассказ о Накуа, она пыталась поведать о завершении в апацхе куриных злоключений, но непонятая, была вынуждена замолчать, затаиться и ждать, когда периодически разгорающаяся в раненном крыле боль перебьет голод.

Накуа же, предчувствуя нелегкое продолжение трудного утра, в накатившей на нее усталости прикрыла глаза, стараясь сохранить таким образом остатки душевных сил.

«Люди, как устали они от ожидания своего чуда, что перестали верить в добро, приходящее само по себе... И

я устала. Пора и мне на покой, а то ведь старуху Накуа на склоне лет сочтут за сумасшедшую, если она вдруг начнет говорить, не дробя каждую истину на ничего незначущие слова».

Накуа засыпала в тени инжира. Лишь только отяжелевшая голова ее нашла опору у его корявого ствола, как старое дерево начало потихоньку оттягивать от женщины усталость, и давно забытое ощущение теплой коры повело ее по белому бескрайнему ромашковому полю, где в объятиях могучего дуба до сих пор стоит маленькая не по возрасту и очень худенькая девочка. Нежной щекой она прижалась к шершавому его телу, гладит ладошкой кору, жалуется на что-то, плачет даже. Слезы по дереву не текут, едва попав на кору, просачиваются вовнутрь, словно к самой его сердцевине стремятся эти посланники детского горя. О чем плачет девочка, старуха не помнит, конечно, но сколько лет прошло уже, а она все плачет у дуба. Дуб заслонил ее от всех ветров, гладит по волосам, целует в щеку: «Не плачь, зачем ты так. Все мы стареем когда-то, всех нас силы покидают». «Нет, он тогда не то говорил, совсем не то. Тогда просто успокаивал, обещал что-то, а, в сущности оберегал, наверное, оберегал, и щадил».

Вдруг Накуа увидела на стволе дерева еще чью-то тень. В последний раз почувствовала она щекой теплую древесную кору, запомнила это доброе, пришедшее из глубины лет ощущение и открыла глаза.

Прищурив глаза от единственного пробивавшегося сквозь густую инжировую крону солнечного луча, склонив на бок взъерошенную свою голову, с интересом смотрел на старушку Мальчик.

– Что, мама прислала? – догадалась Накуа.

– Да, – быстро закивал Мальчик головой. – Мама.

– Ну, тогда пойдем, – сказала Накуа, медленно поднимаясь со скамейки, и вдруг: – А Ворона твоя где?

– Спряталась куда-то. Она Отца боится. Он еще с поля только думает идти, а она уже прячется.

У курицы, которую они съели все вместе за столом, был плоский широкий киль – это, вероятно, что-то значило для курицы при жизни, а для людей это обстоятельство было немаловажно именно сейчас. Тот, кто умеет читать прошлое, настоящее и будущее, якобы записанное на кости, на таком киле, конечно же, точнее прочитает предсказания, а тот, кто не умеет, глядя на такую крупную многообещающую кость всегда начинает питать надежду, что редкий дар предсказания посетит его сейчас (нельзя же и вправду ничего не увидеть на такой поверхности) и, если не останется навечно, то хоть на мгновение приоткроет таинственную завесу пророчества. «Все равно, как добыть истину, живущую в тебе, глядя ли на грудную куриную кость, направленную на солнце, на карты, в россыпь бобов или черноту кофейной гущи.

Вот темные уплотнения и просветы кости, сплетаясь, создают тонкий рисунок, совершенный, как все творения природы. Глядя на него, можно говорить об усталости и болезнях Мадины, о муках маленького мальчика, надрывающего сердце от жалости ко всему живому, о вынужденном душевном раздвоении Отца – о чем угодно можно говорить, глядя на куриную кость, а говорить о таких вещах, глядя на что угодно, только не в глаза слушателю, даже легче. Вот она, раскрашенная временем в два цвета, душа: мечется, рвется в неисполненных желаниях своих, с надеждой смотрит человек на костную мозаику, изо всех сил старается разглядеть в ней картины своей жизни. Что видят сейчас Мадина и Амра, так старательно вытягивающие шеи и заглядывающие ко мне через плечо? Самый ясный рисунок кукурузный початок и поле, которое должно кормить семью, и еще провал дедовской могилы – белые человеческие кости в белой простыне. Где их место на земле? Неужто так никогда не найти им покой? Мечется душа, мечется... Он от

птиц посевы охраняет, с двустволкой по полю ходит, а как покой в семье удержать, не знает. Сердцем чувствует, что не последняя это могила, которой на родной земле места не нашлось.

Что мне кость эта?! Сколько раз в глаза его смотрела?! Через глаза по душе читать, что по книге. Нет в той душе других надежд и желаний, кроме как приютить на земле кости деда своего да воспитать сына так, чтобы место погребения прадеда его свято и памятно было и через поколения передавалось.

Ах, как волновалась Мадина! Куриная косточка, что срез сердца твоего, Мадина: и светлые полосы есть, и пятнышки – кровь запеклась. Это – за мужа болит сердце, кровоточит, надрывается. Видишь, Мадина, в каких муках муж живет, в тоске спать ложится, без радости просыпается – все видишь ты, женщина, а помочь ничем не можешь. А вот рана за сына. Что ни день, плачет эта мать по Мальчику, доброе сердце его оплакивает, а свое надрывает, доброму сердцу – трудная доля.

– Травку тебе, Мадина, на ключевой воде настоять надо и попить месяц – другой. Все пройдет: и спина болеть перестанет, и бессонница отпустит. Травка эта от беспокойства души, а у тебя все болезни от этого,

Мальчику жизнь еще велика... как рубашка не по росту. Он эту жизнь на себя примеряет, да каждый раз размером ошибается – больше берет, чем выдюжить может.

До конца дней ему теперь крест такой на себе нести – Крест Боли. За всех. Родился он не великаном, а чтобы от такой ноши не надорваться, силу великую иметь надо, чтоб сердце и тело его крепили и сколько могло тяжести земной на себя за других живых забирали.

– Разве что козье молоко Мальчику на ночь давать, чтобы креп да рос быстрее. Только козье молоко теперь ведь в нашем краю не чаще птичьего сыскать можно».

Отец долго думал, стоит ли брать Мальчика с собой к Ладу. Он так и эдак примерял к ранимой его душе и детскому пониманию нелегкую ношу чужих ошибок, что должна будет невольно перевалиться и на его сына, В последний раз выверяя опытом всей прожитой жизни правильность уже, казалось, окончательно принятого решения пойти к соседу вместе с Мальчиком, он памятью потянулся к давнему тому дню, когда его отец повел его маленького на священное для всей ахаблы поле, не пощадил сына своего. «Мал ты и не видел дуба. Подрастешь и живым его не увидишь. Так посмотри хотя бы, как умирают священные деревья».

Тогда, у дуба, как в дни великих праздников, собрались все жители ахаблы, но не на праздник это было похоже, а на великое горе: женщины в черных платках стояли, не поднимая скорбных глаз, мужчины, потупив взоры, тяжело вздыхали, словно скрывая друг от друга часть вины, что каждый нес на себе.

В молчании людей было большое тревожное ожидание грядущего несчастья. Горестно внимал каждый из них великий силе священного дерева, плывущей по полю всепронизывающим ветром сквозь травы и людские души.

Маленький, потерянный в многотравье цветущего поля, утонувший в зеленых живых волнах по самую грудь, он стоял посреди могучих несминаемых зарослей трав, сам, от нервного напряжения в ногах и в ожидании чуда, раскачиваясь в такт взволнованным движениям поля. Ветер трепал крону дуба, и сам, срываясь с листов его, катился по траве. Затерявшемуся в цветущем поле маленькому мальчику казалось, что движение это всегда идет только от дуба в зеленый травостой поля, всегда и со всех сторон только в этом направлении, как идут круги от брошенного в воду камня. Всегда только так и никогда по-другому... Не внемля тягости всеобщего молчания, он с восторженным упоением

ждал, когда томительная, величественная тишина разразится напевным голосом его деда – старейшины ахаблы. И слова его, как волны ветра с ветвей дуба, сорвавшись с уст, обволакивающими душу потоками, поплывут по полю. «О, Великий Священный Дуб! – воззовет старик. – О, Священное поле, питающее тебя!» Мальчик опускается в траву, и нет уже ни старика, и нет могучего ствола Великого Дуба, а есть только зеленый шатер листвы и голос деда, живущий под этим шатром, голос, который кажется, никому и не может принадлежать. Он, как вечная музыка земли, звучит, не умолкая день и ночь. Голос, который был и будет всегда, как вечно это поле и это дерево. Вот ведь и он, впервые попавший сюда, слышит этот голос, хотя и деда нет поблизости, но дед будет, он обязательно придет, никогда еще люди не собирались здесь без него. Мальчик еще ниже спускается в траву, откуда виден только купол дуба, да еще небо. Не было праздника, чтобы праздновали его люди без старца! Не было праздника... Не было горя. Его просто не было еще на этом Священном поле.

Дед его – тусклый дотлевающий уголек того величественного, как само дерево, старца, от немощи и скорби даже не мог встать с постели, чтобы прийти сюда, слепнущими от слез глазами увидеть кончину великого дерева, но мальчик, оставивший дома слабого старца, не знал других ожиданий. «О, Великий Дуб!» – начинает он вдруг шептать в волнении, подпевая Вечной музыке и слепо восполняя провал висящей над полем тишины. «О, Великий Дуб... О, Великий Дуб...» Прикинув к земле, он совсем затерялся в зарослях – травы, он отдален ее стеной от всеобщего, тревожного ожидания. Он один не умеет еще верить в смерть вечного. «О, Великий Дуб... О, Великий Дуб... – заклинает он раскинувшийся над головой зеленый шатер, умоляя его заговорить голосом деда. – О, Великий Дуб!...»

В этот день Отец впервые в жизни купил козу. Если бы дед его воскрес из мертвых в момент того позорного торга, он бы тысячу раз успел вновь умереть от стыда и горя, слушая как внук его продает клочок родовой земли за одну единственную козу, молоком которой нужно напоить маленького его правнука. От метущейся злобы он не знал бы, где мертвым ему снова лучше лечь в землю: в старой ли своей могиле, где ушедшие в почву соки его теперь вечно будут вымываться бултыхающейся вонючей жижей отхожего места или в новое свое пристанище, где белой, как сама смерть, простыней запеленаты обглоданные временем голые его кости. В первую же разрытую, разоренную его могилу тем временем падали слова позорного сговора, где внук его сам, сам предлагал уступить соседу клочок земли за садом у фамильного кладбища, где теперь новая дедовская могила, уступить за одну – единственную белую козу, которая по молодости своей будет давать для правнука не больше стакана молока.

«Бе-е-е...» – жалобно проблеяла над могилой уводимая со двора козочка и, если бы смог воскреснуть из мертвых старый хранитель священного дуба, то через поле, старость и немощ свою бросился бы он в леса собирать там заблудшие стада коз: белых, серых, черных – сотни коз, оставленных им Богу леса – Ажвепшу за долгую свою пастушью жизнь, стада отданные Ажвепшу – покровителю зверей для саморазмножения и жертвы. Сто из каждой тысячи коз отпускали пастухи каждой осенью, чтобы вернулись они по весне тысячью ягнят – благодарным даром Ажвепша. Ах, вот как отплатил бог за любовь и жертвоприношение!

Если бы из двух мертвых могил чудо сотворило одно живое тело прадеда, то сметенный услышанным, он от горя сбился с пути и не нашел бы на своей земле ни своих коз, ни тех лесов, когда внук и правнук его уводили со двора единственную, купленную у соседа за землю козу.

Белая козочка – мягкое воплощение самой доброты, трусливая и глупая, как все козы на земле, выев всю низкорослую бархатную травку вокруг акациевого кола, у которого была привязана во дворе Мальчика, поднатужившись слегка своим гибким телом, упершись в землю тонкими ножками с черными копытцами, выдернула непрочную опору, полдня водившую ее на веревке вокруг себя, побежала за сарай, неся через двор и металлическую свалку акациевый кол. Она перемахнула через весело зеленеющую на пятачке солнца спасенную Мальчиком травку и, миновав фамильное кладбище, помчалась к свежесрубленным грабовым колям – заготовленной опоре будущего нового забора на перекроенной из-за нее земле. Козочка эта, мягкая и глупая, как все козы на земле, еще не ведая о случившемся, бежала в милый ее сердцу, знакомый и такой родной двор Лада, откуда вопреки ее желанию увели чужие люди. Они же приковали ее акациевым колом к чужому двору, заставили есть чужую траву, и незнакомая женщина робко, словно боясь своих собственных движений, двигала к ней миску с водой, хотя и вкусной, но чужой, как и сам колодец во дворе... Оттолкнув черными копытцами эту женщину, и эту миску, и этот двор, вырвав из земли ненавистный кол, она помчалась к себе домой, полная любви и преданности к людям, с которыми ее разлучили.

По дороге она полакомилась на своем поле молодыми кукурузными початками, ломкими листьями тутого капустного кочана со своего огорода, вознаградив себя тем самым за тоску и пережитую разлуку.

Потом ее в своем дворе долго били. Били по бокам попавшимся под руку колом, били по мягкому теплему животу, по маленькому ее, но уже набухшему от молока вымени... И, убегая обратно через свой огород с объединенным капустным кочаном, через свое поле с рассыпанными молодыми кукурузными початками, она в последний раз оттол-



кнулась ногами от клочка нераспаханной земли – платы, за которую ее же родной дом отлучил от себя, она проскочила сквозь осиновые колья от забора и хотела было мчаться и дальше, но почувствовала, что застряла в этой ловушке, заметалась, забилась, прикованная вставшим поперек опор будущего забора своим же акациевым колом. Место у осиновых опор, где теряя силы, безрезультатно прыгала она меж могильных холмов, навсегда осталась в ее животной памяти местом, где очень сильно бьют. Там, где она не могла ни убежать, ни увернуться, ее снова били по белым бокам, по мягкому брюху, по теплому, разбухшему от молока вымени. И еще по голове, которую она никак не могла защитить от ударов. Били по гладким остреньким рожкам и отдельно по каждому маленькому ее черному копытцу, а она рвала привязь, рвала и никак не могла освободиться.

Мечась между могильными холмами, истошно бляя, она как во сне видела перед собой жестяную миску с прохладной колодезной водой, которую двигала к ней незнакомая женщина. Двигала, двигала и никак не могла подвинуть. Ах, если бы женщина дотянулась до нее с этой миской, козочка окунула бы в воду распухшую от побоев горячую мордочку и пила бы воду. Пила бесконечно, пока все ее тело, затвердевшее от синяков и кровоподтеков, не наполнится водой, и она, ставшая легкой и круглой, не оторвется наконец от забора и не улетит со стадом облаков от бесчестных жестоких побоев. И эта миска уже не представлялась ей чужой.

Забор отпустил козу только лишь, когда бивший ее кол сам сжалился над бедным животным и поломался у козочки на спине.

Козочка не умела плакать, не умела рассказать о своей обиде. Она только наполнила свое вымя бурым перемешанным с кровью молоком.

Лад принял Отца с еще большим радушием, словно тот намеревался теперь выгодно продать ему всю оставшуюся землю.

Уже и в первый раз его гостеприимства было столько, что, кажется, прибавь к нему еще чуть-чуть, и оно, выплеснувшись наружу безудержным потоком, перешагнет все запреты и нормы, как выбивает пробку запертое в кувшине молодое вино, и тогда Лад станет разливать эту свою радость, как пеной, прыгать от счастья видеть Отца. Но, или радости было все-таки недостаточно много, или он нашел в себе силы сдержать этот выплеск и только забыл выключить улыбку на лице, и она, повиснув на кончике губ, лучиком морщинок собиралась по очереди то у левого, то у правого глаза. Ничего феерического, однако, не случилось. Уловить, а тем более остановить выражение его лица было так же невозможно, как и взглядом остановить то вино, плещущее из кувшина, или заставить ровно светить лампочку, мигающую от перебоя электричества во время ливня.

Отец с самого начала знал, куда ведут следы крохотных козочкиных копыт: через двор, за сарай мимо металлической свалки, к тому самому клочку земли, за который она была куплена и еще дальше в огород Лада. Он мог, не глядя на землю, точно пройти по ее следу, но ходить туда не было надобности. О чем говорить? Да и что можно сказать? Сказать нечего, а ноги сами ведут дорогой, по которой была приведена во двор его странная, очень нужная, но позорная покупка, но не о козе были его мысли.

«В чем я собственно виноват? Чем я виноват и перед кем, главное?!... Родовая земля... – пяточок, на котором и козы этой не выпасешь. Родовая земля, которую ни я, ни отец мой, ни дед, ни прадед никогда не пахали?!»

Он шел к фамильному кладбищу и лгал, лгал больно, бесстыдно, лгал сам себе, чтобы обидеть себя же, наказать,

высечь этой ложью, высечь каждым резким словом. Ведь никто не сказал ему укориженного слова за этот торг, никто не осудил за вчерашнюю продажу. Не осудил или не успел еще осудить?

«...продажа ...продажа ...продажа... Как пропажа... Навсегда, на все времена продал кусок родовой земли. Не подарил, не в наследство отдал, а потерял.

...продал как сам пропал...

...продажа ...продажа ...продажа...

...продажное слово какое-то...

...продажа-распродажа...

Сейчас для полного самоиспепеления ему не хватало материального, зримого восприятия того, что он продал. Нужно было увидеть эту землю, доказать себе еще раз, убедиться, что она уже не его и никогда его не будет, пригони он теперь Ладу хоть три такие козы. Лад теперь зубами будет держаться за эту землю, присоединит ее к понятию «Моя земля», распашет, сотрет границы и никогда, никогда, никогда...

И детям своим накажет.

«Значит навсегда, навечно она теперь не моя и не моего сына».

Как ни готовил себя Отец к муке видеть отторгнутой отцовскую землю, как ни старался, картина не его земли, показалась ему страшной и мучительной до сердечных болей. В сознании его этот клочок, дороже и роднее которого теперь, кажется, и не было, на глазах исчезал вовсе, и его место являло собой черный могильный провал – распахнутый беззубый рот, застывший в крике: «Нет! Здесь уже ничего нет! Не смотри сюда!» Едва освободив себя от этого тяжкого видения, мозг стал сам же порождать новые кошмары: проданная земля то представлялась горящей перед Отцом, то наполнялась вдруг водой, теряла очертания, плыла и растворялась сама в себе, то сияла мигающим светящимся контуром – границей отчуждения и неприкасаемости.

Отметая сознанием эти нелепые, мучительные образы, Отец все ускорял и ускорял шаг, стараясь оставить за собой свои наваждения, отмахнуться? Избавиться от мук и терзаний собственной совести, но едва исчезнув, они всплыли снова, делая недолгий, вымеренный годами путь бесконечной дороги в вечное страдание.

«Все кончается могилой: жизнь, мечты, несправедливость, муки совести».

Проданная земля вовсе не горела в огне его страданий, не тонула и в реке пота, который он не мог вылить там в работе, но не вылил и никогда не выльет теперь. Она не светилась огнем напоминания о предательстве, а лежала за фамильным кладбищем, как лежала вчера, позавчера, сто лет назад, при деде и прадеде, но теперь она уже была по ту сторону забора, словно обидевшись, сама проползла, протекла меж новых кольев от настигающей ее измены. Сама, а измены еще не было!

«Нет! Была!»

Его земля, его и навек запретная территория. Его боль.

Новая граница раздела выросла из земли кольями в человеческий рост. Кровь гневными молоточками застучала в его висках, застучала, пробилась к глазам, и густая кровавая муť поползла перед глазами. Руки сами потянулись к голове и охватили ее, как на похоронах во время оплакивания. Голова, отяжелевшая от боли и гнева, кололась, кололась на части и все никак не могла развалиться, Это потому, что руки скрепляли ее одереvenевшими скобами пальцев, не давая рассыпаться от жестокого, воткнутого в самого тебя кола мысли. Вонзившись в самый мозг, он проник уже, кажется, и в сердце и теперь блуждает в поисках души, чтобы найти ее, найти и пригвоздить навечно к безысходности к вечной муке.

«Необходимо во что бы то ни стало избавиться от этого проклятого кола!»

«Продал... продал... продал...»

«Избавиться от боли, муки жгущего позора и полного бессилия».

Ухватившись обеими руками за опоры будущего забора, Отец стал вытаскивать их одну за другой.

Как много он отдал за одну козу: землю, память, прошлое.

Нет, ведь он отдал только землю, а Лад потом самовольно решил забрать у него прошлое, вбив свой забор так близко к покатым краям могилы, что, осыпавшись от ударов, они только укрепили опору скорбной своей землей.

– Эй! Эй! – кричал Отец, вызывая Лада. – Эй, сосед!

И Лад, словно ожидавший его на краю своего кукурузного поля, вмиг очутился у забора. Лад в этот раз встретил его еще с большим радушием и гостеприимством.

– Что же ты здесь стоишь, сосед? – замахал он руками, приглашая как бы ступить на непаханный клочок земли и не замечая, кажется, поваленного забора.

– А пришел помочь забор тебе поправить, – сказал Отец уже совсем спокойным голосом. – Непрочно что-то ты поставил его. Лад, спешил, видно, очень. Над могилой земля проваливается, забору здесь не устоять.

– Ах! – всплеснул руками Лад, удивленно глядя на опоры, словно впервые замечая здесь эти печальные холмы, – Ах! И вправду! Не заметил! Вот не заметил!

Отец смотрел, как уверенно ступает сосед по его земле и даже заволновался, потому что красная муть перед глазами, исчезнувшая было, вновь заколыхалась густой пеленой, превратив землю в живую, дышащую его гневом трясины, в которую Лад так неосторожно окунул свои крепкие ноги.

– Лад, сосед!

– Что? Что кричишь? Здесь я.

– Давай, вот что... забор дальше переставим, – тихо сказал Отец и, не дожидаясь согласия заметно повеселевшего

соседа, ногой подвинул выдернутые колья к Ладу, возвращая тем самым от соседа малую пядь родовой земли. – Я ограду у могил делать буду.

– Да, да, обязательно нужно ограду, а то... – тут Лад замялся, замолчал, сам не зная, видно, что может еще случиться с этими могилами. – А то....Ты вот не показал до куда землю брать, я вот и отмерил...

«Как совесть показала, а было бы ее чуть меньше, совсем в голову отца моего кол вбил бы» – подумал про себя Отец, но вслух, ничего не сказал, а потом еще и пожалел, что подумал так, и сразу, сам стал править забор там, где считал нужным, а чтобы Лад снова не начал причитать и жаловаться, и, чтобы не заводить новых горьких разговоров, сказал напоследок про козу:

– Что-то у твоей козы молоко не совсем белое, Лад. Бурое оно какое-то, будто кто крови в него подмешал. Ты не замечал раньше?

– Нет, не замечал...

– И сама она скучная, вроде как побил ее кто-то.

Лад с таким сосредоточением уперся глазами во впахиваемый в землю кол, словно, не смотря он так сосредоточенно на него, руками ничего сделать не смог бы.

– Что бы это могло быть, Лад? Не знаешь случайно? А то сам-то я коз никогда не держал.

– Не знаю, не знаю, – пожал плечами Лад, продолжая сосредоточенно смотреть на кол. – Ума просто не приложу. Может, воды ей мало даете? У коз такое от жажды бывает иногда.

– Значит от жажды, – вздохнул Отец. – От жажды, наверное. Скажу жене, чтобы миску с водой побольше ей поставила.

Забор был готов, но на могиле остался лежать еще один кол. Этот лишний, не вошедший в заборное плетение кол, Отец повертел в руках. В трещинах коры и на обломках сучков застряла белая козья шерсть.

– Вот еще один. – Отец перебросил палку через забор на землю Лада.

– Что опора осталась? – переспросил Лад, торопливо подбирая кол. – Точно, от забора.

\* \* \*

«Кто я?» – устало думала Накуа, глядя на козу и безмолвствуя уже так долго, что Мальчик и Отец, приведшие животное во двор знахарки, уже начали нетерпеливо переглядываться.

«Что же она молчит?» – волновался Отец, не смея торопить женщину.

«Кто я? – думала хрупкая, не по годам худенькая девочка, обнимавшая ствол дуба. – Что я могу сказать людям? Как я смогу жить меж них? Жить и молчать? Жить и говорить? Молчать, чтобы люди понимали, о чем мое молчание, и говорить, сомкнув уста и зажав великое желание высказаться?»

«Кто я? Почему не спасет меня скорлупа черного платья? Что случилось с тобой, девочка? Ах, как устала ты, старая Накуа! Закутайся в свою крепость – толстый платок, закутайся и говори, говори ради бога. Люди ждут твоих слов. Ты пришла к людям, чтобы говорить».

Отец с грустью думал, что их белая козочка, наверное, очень больна, если Накуа, мудрая, всезнающая Накуа так долго разглядывает ее.

Ничего не говоря Отцу и Мальчику, Накуа ушла в свой сарай, где уселась на ворох кукурузной чалы, совсем было ушла в свои мысли, и, перевязав на голове платок, еще укромней спряталась в его складках, словно кто-то мог видеть сейчас ее уставшее, слегка растерянное лицо. Что за мысли бродили в ее голове? Никому это неизвестно, В душу ее никто не заглядывал, а в лицо, если бы и посмотрели, все

одно ничего не увидели бы. В полутьме сарая закутанное в платок лицо ее казалось сплошным клубком ниточек – морщин.

«Коза...»

– Что за коза? Ах, да! Коза этого славного Мальчика!

Сидя на куче чалы, старушка старалась припомнить эту козу, а едва вспомнив, сама же ухнула от неожиданного навалившегося на нее вдруг страха. Сухонькое маленькое тело ее вдруг перевернулось, а руки сами охватили голову, но это был уже не порыв страха, а следующий за ним разряд боли. Ой, как били эту козу! Старая Накуа, лишь представляя это, содрогается от ужаса.

«Как много на земле зла и несправедливости! Зло вот хоть без глаз и без ног, а всегда самого беззащитного разыщет: козу вот в заборе застрявшую настигло и не пожалело. Прямо болезнь какая-то: то в одной душе поселится, то в другой, кочует, как чума, и не изведется никак. Сколько на земле живу, а всегда одно и то же: чуть зазевывается человек, а оно тут, как будто звал его кто-то, найдет в душе одно темное пятнышко, в комочек свернется, чтобы не видел его никто, и сидит в человеке, и не просто сидит, а душу разъедает, душой питается и само растет. Пожирает все хорошее вокруг, пирует, пока человек сам по себе кусок разъеденной этой души не отсечет. Вот и получается всякая душа с рубцом или с порезом, Ты к ней со своим идешь, принять просишь, а принять нечему – шрам или того хуже – живая рана. Это редко кто зла избежит и чист до смерти останется. Иной человек так жизнь проживет, что и пятнышка на душе нет, чтобы злу поселиться да разгуляться. Чист человек. Только вот на душе его от ран живого места нет. Это он по кусочку всякий раз от себя отрезал, когда другому рану залечить нужно было.

И обязательно хоть один такой человек рядом живет и не умирает, пока другой не родится ему на смену. Так оно, во



всяком случае, быть должно. Хранитель Священного дуба таким был. На нем, видно, нить эта и оборвалась».

Уже выходя из сарая, Накуа поняла, что что-то не додумала про эту линию добра, вроде как своей волей оборвала ее.

«А в общем-то хорошо, что все совсем не так. Наверное, вслед за тем стариком пришел на землю еще кто-то, а потом, еще, кто-то. Просто ты, старая Накуа, подслеповата стала, чтобы так торопиться с мыслями своими и всех хранителей Добра с тем старцем хоронить».

Отец, видно, уже начал волноваться и, нервно переминаясь с ноги на ногу, готовил себя услышать про козу самое горестное и безнадежное. Сама козочка стояла посреди двора, жалкая, безразличная по всему. Ее, видимо, кое-как занимала лишь проблема устоять на четырех ослабевших ногах и не свалиться на землю от бессилия и боли. «Ложись, ложись на траву», – говорил Мальчик, поглаживая ее по голове, но лечь на землю для нее, видимо, сейчас тоже было проблемой. «Ложись», – не переставал уговаривать животное Мальчик, и коза, сделав неуклюжие усилия встать на колени, в конце концов рухнула на землю и заблеяла тихо и беспомощно повалилась на бок.

– Ее били так сильно, что отбили внутренности, – сказала Накуа без лишних предисловий. – Это не болезнь, а зло человеческое и лечить нужно не ее, а людей от зла, а козочке хорошая трава нужна, чтобы откормить ее как следует, сил дать избитому телу. Она молодая еще, все в ней поправится, но сейчас кормить ее нужно на том лугу, где травы ценные растут: одна такая, как мелкий хлебный колос с виду – мятлик называется. Лист тонкий, узкий как стрела, а на стебельке цветы в прозрачную метелку собраны, вроде как желтой кукурузной мукой ту метелку кто сверху присыпал. Еще есть трава, у которой лист с кошачьим следом сходный, а цветок, что султанова голова или шапка – клевер называется. Белый или красный. Еще горох дикий нужен.

Он, горох, как все горохи, легко узнать. Только лист у него мелкий, да горошины в стручке, разве что мышей кормить. Мышиным он и зовется. – Тут Накуа замолчала на минуту, переводя дыхание, а потом сказала обычным тихим ровным голосом: – И еще девясил. Его сам узнаешь. Увидишь и узнаешь сразу, – сказала она, обращаясь теперь к Мальчику.

\* \* \*

Свободно бродить по полю было почти невозможно: гибкие травяные стебли, сплетаясь в густые сети, обвивали ноги, липучая повилка невидимыми своими коготками цеплялась к голым рукам и одежке. Таких зарослей Мальчик никогда еще ни видел, и коза, видно, тоже в такие заросли попала впервые, потому что ее первое блеяние выражало меньше чем восторг и удивление. И только Ворона отнеслась к посещению этих низкорослых джунглей более или менее спокойно: она ведь раньше летала, а когда от полетов остается хотя бы память, удивляться земным вещам невозможно, но Вороне на поле, видно, тоже нравилось и отпущенная с рук на землю, она тут же принялась обследовать заросли. С козой они успели подружиться и из прогулок извлекали теперь обоюдную пользу: на белой козьей шерсти повисали ежики репейника, и Ворона то и дело склевывала их, подпрыгивая и взмахивая здоровым крылом.

Едва оказавшись на поле, коза быстро разработала для себя тактику поиска пищи. Тактика эта была крайне проста: поскольку травы вокруг было сколько угодно, заходить в глубь зарослей не было надобности, без труда разыскав вокруг себя мятлик, клевер мышиный горошек, она выедала вокруг себя кусочек поля и делала шаг вперед к новым кустикам травы, пробираясь в середине, поля не быстрее, чем пережевывались эти нескончаемые заросли. Так продолжалось до первого утоления голода, Устав жевать, ко-

зочка валилась на траву, вытягивала в сторону тоненькие свои ножки и подставляла солнцу мягкое белое брюхо, в кровоподтеках, поцарапанное, быстро набухшее от сочной зеленой травы вымя. Ворона, до этого суетливо скакавшая рядом, быстро перебиралась к козочке и начинала обследовать ее тело вдоль и поперек, преодолевая его как покатуку белую горку. Сильным проворным своим клювом она выщипывала клочки старой шерсти, деловито выискивала в белых густых зарослях блошек, мошек, забредших по ошибке полевых жучков.

Сытая козочка лежала на траве, блаженно полуприкрыв глаза, а Ворона, быстро работая клювом, добавляла только удовольствие своему отдыхающему большому другу.

Потом роли менялись: переварив в себе смесь полевых трав, коза снова принималась усиленно поедать султаны мятлика и бархатные головки клевера, а Ворона, раскинув по земле крылья, положив голову на манишку перьев, закрывала глаза от удовольствия исполненного долга. Отдохнув немного, Ворона, так же не сходя с места, клевала на земле просыпанные с поедаемой травы козой семена, в то время как сама козочка аккуратно объедала траву вокруг развалившейся Вороны, не смея согнать с места пернатую свою подругу.

Разлегшись в траве, Мальчик пожевывал сладкую ломкую трубочку мятлика и смотрел в небо, а точнее в узкую лазурную полоску его над головой меж сомкнувшихся трав. Иногда он нарочно придвигал к лицу живой букет и старался поближе рассмотреть названные Накуа: мышинный горошек, мятлик, клевер. Он узнавал их сразу же среди всех других зеленых жителей поля: у мышинного горошка на концах побегов были еще закрученные зеленые усики, листочки же клевера на кошачьи лапки, по его мнению, были мало похожи. Тонкий белый их рисунок больше напоминал кусочек зеленого бутылочного стекла на берегу моря, на котором

после отлива волны остался прозрачный рисунок тающей белой пены. «Откуда Накуа про такие стекляшки знать, – оправдывал про себя неудачное сравнение старушки Мальчик. – Она на пляже-то, наверное, давным-давно была». На что бы листья клевера на самом деле не были похожи, цветущие розовые сладкие головки его, с жужжащими брошками шмелей, он все равно узнал бы из тысячи других полевых трав.

Вот только девясил... Девясил – нужная лечебная трава никак не находился. Травы на поле как могли путали Мальчика: то одна попадется на глаза, раскинет свои опущенные со всех сторон мягким ворсом стебли, как бы говоря: «Я – девясил! Бери меня! Я – лекарство для козочки», то другая протянет вперед нежно-зеленые листья: «Возьми меня». Это во мне девять сил. Возьми меня. «Мальчик перешагивает через них, всякий раз приговаривая: «Нет, и ты тоже ее девясил... и ты не девясил». Девясила он никогда раньше не видел, но, отметая бросающиеся в глаза травы, знал, что он никогда не ошибется, увидев ту одну, единственную нужную ему. В нем жил голос Накуа, кажется, беспрерывно повторявший короткий, но ясный портрет девясила: «Ты его узнаешь сам».

– Я его узнаю сам, – повторял всякий раз Мальчик, точно зная, что в нужный момент не ошибется в выборе.

И все-таки были дни, когда, устав от поисков, он начал сомневаться, и тогда голос Накуа говорил ему: «Нет, это не он».

– Нет, это тоже не девясил, – уверенно повторял тогда Мальчик, перешагивая через траву, пытавшуюся обмануть его.

Вечером за ужином, когда в дом стекались все самые важные новости, наставлял и его черед рассказывать, как он пас козу и выгуливал Ворону на дальнем поле. Мама все время ахала, боясь, что Мальчик заблудится в селе меж чужи-

ми домами, когда Мальчик наизусть повторял, где у какого дома и у чьего поля нужно свернуть с дороги, как объяснял ему Отец, провожая в самую дальнюю в его жизни дорогу.

– Ах! – восклицала Мама, испуганно всплескивая руками. – Ты шел через речку, а вдруг бы налетел водяной вал и смыл бы тебя в море?!

– Река пересохла. Дождей целое лето не было, и вал поэтому возникнуть не мог – неоткуда, – успокаивал ее Отец.

– Вал всегда налетает, когда его не ждут. Хумач, больше никогда не ходи там, пройди лучше через мост у дома Быды.

– Что ты говоришь?! – удивленно восклицал Отец. – Хумач, ходи как ходил. Мамина дорога – это целых лишних полчаса пути, и во время вала мост у дома Быды сносит водой.

– Тогда пускай идет по плотине. Это безопасно. С козой он до плотины только к вечеру дойдет.

– Что же делать? – сокрушалась Мама, а Мальчик тем временем уже описывал свой поход дальше.

– Ах, Хумач, – снова перебила его Мама. – Зачем ты ходишь мимо дома Мигоны? У него такая злая собака, и Мигона никогда ее не привязывает. Сверни ты лучше и пройди по полю Кары. У него собаки нет.

– Кара очень злится, когда по его полю ходят, – поправляет Отец.

– Тогда сверни еще дальше и пройди через сад Пила, – находила новый путь Мама. – Конечно, лучше по саду Пила, чем мимо бешеной собаки Мигоны.

– Ты, наверное, сто лет уже со двора не выходила, – возмущенно говорит Отец ей на это. – У Пила теперь такой забор вокруг дома, что никакой козе его не перепрыгнуть. На новой улице свернуть негде. Там дома, как шеренга солдат, плечом к плечу стоят, к ним и не подступишься.

– А что, у нас разве другого такого поля, кроме как за улицей новостроек, нет, чтобы Хумач куда-нибудь поближе козу водил?

– Другого нет и этого скоро не будет, распашут под курузу того и гляди, – грустно говорил Отец, а потом вдруг, подмигнув Маме лукаво, замечал: – Имя Хумач – уже совсем не значит «маленькая порция». Ты ему мамалыги, как мне, в тарелку накладываешь, а боишься как за того Хумача, что кричал когда-то, протягивая над столом руки: «Еще, еще мамалыги!»

– Я – кричал? – удивленно переспрашивал Мальчик.

– Кричал, да еще и плакал, – подтверждала Мама.

– Мы тебя потому Хумачем и назвали, – кивал головой Отец. – Ты когда за стол со всеми садиться стал и мамалыгу кушать начал, Мама тебе не больше ложки в тарелку накладывала, все боялась, что не справишься, а ты посмотришь на наши порции и плакать начинаешь: “Мало! Мало!” – кричишь. Мама тогда тебе еще докладывает. Ты успокаиваешься, а потом все снова повторяется. Вот так ты и рос. Все маленьким тебя считали, а когда закричишь “Мало! Мало!” – порцию увеличивали и замечали, что подросток наш Хумач.

\* \* \*

Проходя по улице-новостройке, Мальчик всякий раз считал дома, чтобы не сбиться с дороги и свернуть в нужном месте. Дома такие одинаковые: маленькие и желтые, как персики в миске, что отличить их один от другого Мальчик мог еще с трудом. Раз, два, три, четыре – вот этот «персик» приметный, с гнильцой в боку. Это дом Пила с забором-стеной, пять, шесть, семь, восемь... и этот дом приметный: за забором Мигоны злющая собака мечется. Вроде как и этот «персик» с отметиной или червоточиной, а дальше опять – раз, два, три, четыре... Дома одинаковые, как персики в миске.

На поле Мальчик все время искал девясил. Ходил, ходил меж трав, стараясь разглядеть заветное растение. Порой ему

даже казалось, что вот-вот блеснет чудесная травка бусинками росы, стоит ему только осторожно раздвинуть руками кустик мятлика, и тогда меж ломких прозрачных стеблей его раскроются листья девясила. Но так не получалось: за мятликом висели стручки мышиного горошка, дальше цеплялась за всякую траву повилика, потом клевер, полевая гвоздика, сочный молочай.

Однажды распахнув вот так кулисы трав, Мальчик наткнулся на земляничную поляну и, попробовав на вкус позднюю красную ягоду, бежал от этой поляны сквозь травяной заслон, не чуя под собой ног. Ягода эта была ни сладкой, ни кислой, она вообще никакого вкуса не имела, а скорее всего была пресной, как трава, это означало, что вся эта поляна была покрыта ковром особой земляники, коварной ягодой – земляники змеиной, к которой змеи обязательно сползаются, если останется на ней хотя бы одна ягодка, они ее отыщут. С тех пор, как перестали сниться Мальчику страшные сны про поваленное дерево, он больше всего на свете боялся змей.

Вечером этого дня он был особенно взволнован, но боясь, что узнав про поляну змеиной земляники, Мама на поле его больше не пустит, рассказывать ей ничего не стал. Только она сама все заметила:

– Может быть, ты, Хумач, заболел на этом поле?

– Нет, нет, – заволновался Мальчик. – Девясил что-то никак не находится.

Мама, видно, успокоилась и даже пошутила:

– Коза-то уже, наверное, давно его нашла и каждый день по одной силе поедает потихоньку, посмотри, какие бока за неделю нагуляла, будто ореховым ядром ее откармливали. Но ты не волнуйся, тебе через молоко тоже каждый день по одной силе достается: щеки как помидоры стали. И Ворона траву эту тоже, наверное, отыскала, скачет и раненого крыла не замечает.

Про Ворону Мама, конечно, грустно пошутила, у Вороны рана никак не заживала, и птица по-прежнему волочила по земле больное крыло.

\* \* \*

Как много можно увидеть на поле, если лечь в траву и посмотреть на него как бы изнутри. Вот на стебельке разжеванного мятлика появились капельки сока – слезинки травы. Переломлен стебелек, размят на волокна, оборвалось соковое русло, капелька на изломе и заблестела. А вот белая кровь одуванчика – горький сок земли густеет, сереет на солнышке, словно зализывает одуванчиковую рану. А вот муравьишка бежит, мечется по одуванчиковому листу, даже ношу бросил. Мальчик лист сорвал и перепутались муравьиные дороги. И на земле трава примята. Где его след? Где дорога домой? Поле утопает в ароматах трав. Каждая капля сока на изломе – мир запахов! Где уж тому муравьишке различить жалкий след своего потерянного пути?!

А вот божьей коровке все равно, примята трава – не примята трава. Все равно, чем пахнут стебли трав. Надоест покачиваться на листе одуванчика – взвьется вверх, улетит в небо. Там ее дорога.

Божья коровка – точечками спинка,  
За гору по небу ведет твоя тропинка.  
Где ж твоя апацха? Где же твое поле?  
Что ты называешь вольной своей волей?

Еще интересно изнутри поля смотреть на небо: травы сомкнулись над головой, сплелись в венок из цветов и солнца. На голубом небе, как на живой переводной картинке, проступило вдруг лицо незнакомого мужчины. Он нагнулся над Мальчиком и улыбается. Горящие любопытством глаза его – дальние звездочки на ясном дневном небе – выдавали спрятанную где-то в густой щетине лица улыбку. Брови удивленно приподняты: «Вот это находка!»



От неожиданного его появления Мальчик даже зажмурил глаза, потом быстро открыл их и убедился, что мужчина самый настоящий и никуда не исчезает, не стирается под закрытыми глазами. Таинственная его улыбка начинает выползать из бороды, усов и заросших щетиной щек и складывается в добрые лучики морщинок у глаз. Тогда Мальчик подумал, что, может быть, слишком мало держал глаза закрытыми, но, сжимая веки, очень не хотел, чтобы лицо человека и в самом деле исчезло с голубого полотна неба. Он, снова закрыл глаза и на всякий случай очень сильно зажмурил их так, что красные точки-огоньки закружились в хороводе, рассыпались по зеленому полю закрытых век красными ягодами – россыпью змеиной земляники, а желтые круги перед глазами перепутались вдруг, свились сами по себе в густой клубок и покатались меж красными земляничными ягодами.

Что это? В клубке змеи? Гладкие, противные змеи, которых Мальчик боится больше всего на свете? Откуда они?

«Они выкатились из этого мужчины, как в прошлый раз!» Этот человек с глазами-звездами сам, наверное, напичкан змеями, и они всегда появляются вместе с ним.

От каждой попавшей под ноги коряги, от каждого раздавленного стебля молочая Мальчик отскакивал, как от горящего угля. Он бежал по полю и представлял, как одна змея страшнее другой бросается ему под ноги, а мужчина бежал за ним, звал, просил остановиться, звал, как душу тянул, а Мальчик даже боялся обернуться назад. Если бы на пути была яма или канава, или овраг, куда можно было бы свалиться, залечь, замереть, чтобы никто тебя не нашел. «Где он? Где он? Куда же он исчез» – станет тогда спрашивать человек со змеями у поля. «Здесь его нет. Нет и никогда не было», – ответит ему трава, низко склонившись над Мальчиком. А под ногами попадают только холмы и бугорки, они мешают бежать.

- У меня нет змей! Не бойся!
- У него пальцы, как змеи, и из штанин целое семейство маленьких змеенышей вылезает. Разве это ноги? Это ведь перепутанные, переплетенные в толстые жгуты змеиные тела. Стоит ему, наверное, сбросить штаны, как они все расползутся в разные стороны!
- Что ты сочиняешь?! Нет у меня никаких змей, говорю же тебе.
- А ты штаны сними.
- «В чем правда? В наготе, наверное... Смотри, снимаю штаны».
- А это что, разве не змеи у тебя вывалились из живота?!
- Это не змея. Смешной ты какой!
- А ты страшный. Все равно они у тебя где-то прячутся!
- Я не смешной, а сумасшедший!
- Ты? Ты сам об этом говоришь?
- Все об этом говорят,
- Но ведь это не правда... наверное?
- Конечно, неправда. А что, я действительно очень страшный?
- Нет, если у тебя действительно змеи не припрятаны.
- Опять ты про них? Какие змеи? Я ведь перед тобой совсем голый стою. Где ты змей увидел, скажи?
- Но ведь были?
- Были и нет больше. Их ведь убили. Ты когда падал, ничего не повредил?
- Нет.
- Тогда вставай. Пойдем твою козу искать.
- Пойдем. Слушай, а что ты сейчас сказал? Повтори, пожалуйста.
- Я сказал: «Тогда вставай».
- И все?
- Все.

– А мне показалось, ты потом добавил «Пойдем твою козу искать».

– Я это подумал.

– Ты подумал так громко, что даже я услышал.

– Какая разница, подумал или сказал, ты ведь все равно понял.

Пока мужчина натягивал штаны, Хумач давил в себе желание обежать его со спины и, подпрыгнув, чтобы лучше был виден затылок, посмотреть, что же там на затылке так ярко светится и выливается лучами из глубоких глазниц. Сами по себе глаза уж, конечно, так светиться не могут, и недаром же они у этого человека так глубоко посажены, да еще такими густыми бровями прикрыты,

– Они у тебя всегда так светятся?

– Всегда. Такие уж есть.

– А это ничего, что я к тебе на ты обращаюсь? И еще столько вопросов задаю? – спросил Мальчик и подумал про себя: «Ты ведь старший».

– Мы все равны. Ты не стесняйся, спрашивай, что хочешь.

– А я и не стесняюсь.

– Еще стесняешься, я же вижу.

– Нет.

– Не спорь со мной.

– Меня зовут Хумач, а тебя? – «Видишь, я совсем не стесняюсь» .

– Правильно делаешь. Я – Мына.

– Мына – сумасшедший?!

– Да.

– Только ты не думай, что я так сам думаю. Так говорят люди.

– Я же сам говорил, что ненормальный.

– Нет, этого не может быть.

– Может. Я сам тебе говорю: я – Мына. Только так меня никто не называет. Все говорят: «Мына – сумасшедший».

– Это ничего, ты не печалься. Это как Божью коровку называют. На самом деле она не коровка и никакая не Божья, но привыкли все и называют, А я – Хумач.

– Ладно, Хумач, давай о другом поговорим. Скажи, твоей Вороне совсем плохо?

– Наверное, но Мама говорит, что она веселей стала. Она, наверное, девясил где-то нашла и потихоньку клюет его.

– А про девясил ты откуда знаешь?

– Накуа научила.

– Накуа? Ты знаешь ее?

– Ее у нас все знают, Мына, все говорят, что ты в лес сбежал?

– Сомневаешься, не сумасшедший ли я?

– Только если совсем немного – Нет!

– Да знаю я, сомневаешься.

– Это потому, что люди так говорят.

– Знаю, что они про меня говорят, «Мына был чуть-чуть дурак – в деревне жил совсем свихнулся – в лес ушел».

– Ты что, навсегда ушел?

– Нет, на время.

– Накуа сказала, что ты там лечишься. От чего, скажи. От змеиных укусов?

– Нет, дались же тебе эти змеи.

– А змеи зачем тогда с тобой были?

– Я их лечил.

– Змей?!

– Да, а что тут такого? Их кто-то косой порезал.

– А разве они тебя не кусали?

– Нет.

– И диких зверей ты не боишься?

– Не боюсь.

– И когда гроза в лесу, тебе не страшно?

– Не страшно.

– Но ведь ты же там один живешь!

- А чего бояться?
- Ну, волк набросится или медведь с гор спустится, да на твое жилище набредет.
- Я же не в гости в лес хожу, а живу там, понимаешь меня? Живу, как птицы, как звери, как деревья. Там мой дом, я такой же, как они.
- Дом – это когда крыша над головой.
- У меня есть хижина.
- Хижина? Это как у птицы гнездо, как у медведя берлога, как у волка нора?
- ...Ну... Да... если хочешь.
- А если я пойду в лес, они меня тоже не тронут: волки, медведи?
- Тебя не тронут.
- А змеи?
- Ну, что ты к змеям-то привязался, чем они хуже других животных?
- Нет, ты скажи, змеи меня тоже не тронут?
- Если поверишь, что ты, как все живые существа, а они, как ты, и что лес твой дом, то никто тебя не тронет.
- Что я, как они?!
- Нет, лучше, что они, как ты: не страшнее, не противнее, не глупее.
- Это трудно?
- Тебе нет.
- Потому, что я маленький и верю в сказки?
- Нет, просто ты добрый.

\* \* \*

По дороге домой Мальчик все время думал, есть ли та пружинка, тот червячок, что проснулся у него сейчас в душе, шевелится где-то там глубоко, червячок с шершавым ранящим тельцем, будоражащий самое живое в нем, есть

ли он – та самая совесть, которая мучает людей. Мальчик никогда не лгал раньше родителям, и то, что должно будет произойти сегодня вечером за ужином, тоже ложью назвать нельзя, но все-таки это будет маленький обман.

Еще ничего не случилось, ничего, быть может, и не случится, а червячок-совесть (а это был точно он – червячок) уже проснулся, как сигнал, как предупреждение об опасности. Он был, наверное, и раньше, родился вместе с Мальчиком, но просто спал до сегодняшнего дня, у него не было работы, ничто его не тревожило. Жил себе и жил, питался радостью правды и спал, а теперь вот проснулся от одного только прикуса, одного только запаха и предчувствия полулжи.

– Полулжи? Как же это? Соврать наполовину, что ли?

Соврать наполовину, все равно ведь что-то соврать, и эта, пускай, даже маленькая ложь, будет настоящей, маленькой, но настоящей неправдой. Значит, полу лжи вообще нет, есть правда и есть ложь, маленькая, но ложь, маленькая, но настоящая. Ложь до конца это самая отрава для червячка – совести.

Все неудобства души были у Мальчика от того, что он решил для себя, что не станет говорить домашним о встрече с Мыной. Решил смолчать. Вот это и была его полуправда, если полуправда все-таки существует, она-то и будоражила червячка, это и была его бессонница. Вечером Мама спросит, как прошел день, что видел на поле, нашел ли девясил, наконец.

Мальчик ответит, что девясил не нашел, что ничего интересного не нашел, что девясил теперь искать вообще не надо: Мына козочку и Ворону без девысила вылечит.

...Нет... Вся боль его полуправды как раз и заключается в том, что он решил скрыть встречу с Мыной.

Скрыть?

Но ведь Мама-то прямо про Мыну не спросит, она же не спросит именно так: «Встретил ты сегодня, Хумач, Мыну на

поле или не встретил?» Если бы это было так, то своим ответом он соврал бы ей, а он просто решил про Мыну ничего не говорить. Мама же про него не знает, а он ей не скажет.

А как же червячок?

Ах, если бы он сейчас успокоился, перестал бы карябать его душу!

Мына просил его ничего не говорить дома?

Нет, не просил. Он вообще про дом ничего не говорил.

А может, он опять громко подумал, а Мальчик его услышал?

Нет, не думал он ничего такого.

– Почему же проснулся червячок? Может, он на поле заполз к нему, и никакая это не совесть вовсе?

– Хумач, расскажи нам с Отцом, что сегодня интересного видел?

...Ничего... (Полуправда.)

– Совсем ничего? Кого на пути встретил?

– ...Никого... – это уже ложь. Настоящая, самая полная.

Перестань же мучить меня, мой червячок!

– Ну... не хочешь говорить — не надо... – Мама даже обиделась.

– Что не хочу говорить?

Мама действительно обиделась и теперь молчит.

«Откуда она знает? Может быть, я теперь сам так громко думаю, – как Мына, и Мама слышит?»

В этот вечер Мальчик лег спать рано, чтобы не видеть Маму, если она вдруг войдет в комнату поцеловать его на ночь, закрыл глаза, притворившись спящим и еще натянул на голову одеяло. Потом там под одеялом открыл глаза и в темноте своей душной пещеры увидел вдруг Мыну, снимающего с себя сначала одежду, а затем, когда уже, кажется, и снимать-то нечего, стягивающего одну за другой свои телоболочки – прозрачные, многоцветные, тонкие, почти невидимые. Еще он увидел контуры дымчатых, желтых, синих,

красных деревьев, подставивших раскрытые ладони своих листьев солнцу, нитями лучей тянувшихся к распахнутым кронам. По прозрачным стволам нити лучей протекают в недра земли и, касаясь спрятанных в ночи подземелья камней, заставляют их звенеть и зажигаться цепочками огней. Потом уже, сняв с головы одеяло, он увидел, как в комнату вошла коза и через распахнутое окно влетела выздоровевшая уже как будто Ворона. Потом втроем они долго разговаривали. Говорили про поле, про девясил, про Мыну. Ворона сказала, что если закрыть глаза и очень захотеть, можно летать над землей и без крыльев и вместе с вороньей стаей подняться на вершину горы и оттуда увидеть себя совсем маленьким, а если подняться еще над вершиной, то можно увидеть село, свой дом, поле, даже когда тебя самого еще не было, и увидеть маленькой свою Маму и Отца. Если понравится летать с вороньей стаей, можно остаться с ней навсегда, а если не понравится, то нужно только открыть глаза.

Прежде чем улететь с воронами на вершину горы Мальчик решил все-таки открыть глаза и увидеть еще раз себя, дом и родителей, какими они сейчас есть. Он открыл глаза и проснулся.

В комнату вошла Мама. Было уже утро и она как всегда будила его поцелуем.

\* \* \*

– Тебе, наверное, скучно в поле одному. Возьми с собой мяч, будешь там играть, и еще я тебе покушать что-либо положу, а то целыми днями домой не приходишь, бегаешь там голодный.

От мяча сумочка с едой казалась большой и круглой, как арбуз.

«Что это ты, Хумач, такое большое в сумке несешь?» – станут спрашивать мальчишки по дороге.



«Арбуз!»

«Подарок кому-то несешь?»

«Нет. Иду на поле козу арбузом кормить, а то она дома его не ест».

«Давай лучше мы его сами съедим».

«Давайте», – ответит он и как бы невзначай поддаст ногой по мячу в сумке, а тот, как хорошая футбольная передача, полетит прямо на голову ребятам. Вот смеху-то будет!

На поле он потихоньку развернул сверток с едой, и, убедившись, что Мама положила в сумку его любимые хачапури, еще копченый сыр и желтые, как солнце, груши. Сочная груша сразу же развеяла разочарование дороги, на которой ни один мальчишка Хумачу не встретился и что мяч в сумке он приносил зря. Спрятав еду, он стал поджидать Мыну, прохаживаясь меж трав и не отрывая ожидающего взгляда от близкой кромки леса, откуда Мына, судя по всему, должен был появиться. Мальчику как-то и в голову не приходило, что новый взрослый его друг может сегодня не прийти сюда, а может не прийти и вообще больше никогда. Ведь они ни о чем не договаривались вчера.

– Был ли Мына?

Что за вопрос?! Теперь без Мыны нет этого поля.

– Ну, где же он? Хачапури засохнут на солнце.

– Хумач! Я здесь.

– Мына?! Как же я тебя не заметил?

– Не туда, значит, смотрел. Я из села иду.

– А что ты там делал?

– Ночевал.

– В селе?

– Да, а что?

– Ты же в лесу живешь.

– В лесу живу, а в селе ночью изредка.

– А-а-а... вот, значит как... – разочарованно протянул Мальчик. – А я тебя хачапури хотел угостить...

- Хачапури? Никогда не отказываюсь от хачапури!
- Правда? – Мальчик уже разворачивал кулечек с едой. – Моя Мама делает самые вкусные хачапури в селе.
- Нет, это моя мама умеет делать самые вкусные хачапури.
- А все люди говорят, что моя, – обиженно возразил Мальчик.
- Я с тобой не спорю. Моя мама умеет, но не делает. Она уже очень старенькая и ей уже не под силу держать корову, а какое же хачапур без сыра?!
- Да, пожалуй... А кто твоя мама?
- Старая Хикуч, что живет на краю этого поля. Когда она болеет или ей нужна помощь по хозяйству, я прихожу домой.
- А откуда ты узнаешь, что маме плохо. Тебе говорит об этом лес, который макушками деревьев видит ее дом или птицы, что повсюду летают?
- Я сам знаю об этом. Посмотрю в свою подозрную трубу и увижу, что мне нужно. Вот сейчас, например, она кур кормит.
- Ты это видишь?
- Вижу.
- А подозрная труба где же?
- Не всякую трубу в руках нужно держать, Хумач. Такая труба у всех есть и у тебя тоже, нужно только представить хорошенько, у тебя синяя такая, длинная труба перед глазами, и ты все увидишь. Все, что захочешь.
- Нет, – покачал головой Мальчик. – Нет, так быть не может. Если есть подозрная труба, значит есть, и в нее все могут посмотреть. Все в одну трубу. Если же нет трубы, значит нет, а то ты – видишь, я – не вижу. У меня же два глаза. Я не слепой.
- Выходит, что слепой или у меня три глаза. Я же вижу.
- Я тоже вижу и без трубы.

– Видишь, да не все. Стрекоза тоже видит, да не так.

– А как?

– Не так, как мы. Перед ней весь мир – отдельные картинки. Сменяют картины одна другую и в них, вроде, ничего не движется. Ладно, кушай лучше чуреки.

– Что кушаешь?

– Чуреки. Ты что, не ел их никогда?

– Нет.

– Тогда тем более бери, – Мына достал из-за пазухи розовые лепешки, каких Мальчик никогда не видел. – Бери. Моя мама делает самые лучшие в селе чуреки.

– Почему?

– Потому, что их теперь никто не делает. Когда я был маленьким, я очень любил смотреть, как мама их печет. Разложит соевую лепешку на сковороде, а сковороду на огонь не ставит – развернет чурек лицом к пламени, а под сковороду буквое полено подставит. Дрова в огне трещат, а чурек на огонь смотрит и печется. А если на лепешку смотреть через пламя, сидя по другую сторону очага, то на розовой корочке его можно увидеть целый мир.

Хумач, мы с тобой за разговорами про Ворону совсем забыли. Позови ее сюда, будем раненое крыло лечить.

Рубаха Мыны была целым складом интересных вещей. Кроме чуреков за пазухой были еще спрятаны бинт, бутылочка с изумрудно-зеленой жидкостью и баночка с густой мазью, из которой даже через крышку пробивались спрятанные внутри густые запахи леса.

– Мына, а почему Ворона не каркала, когда ты ей крыло перевязывал?

– Я ее просил не плакать, даже если очень больно будет.

– И ты думаешь, она поняла тебя?

– Поняла, наверное, если не каркала.

– Мына, а откуда ты столько знаешь: и про животных, и про лекарства? Тебя учил кто-либо?

– Учили все понемногу: мама, люди знакомые и незнакомые, сама жизнь, а больше всего лес. Там столько знаний хранится,, что одной человеческой жизни не хватит, чтобы их разглядеть,

– Это трудно?

– И да, и нет. Это как с чуреком, раньше все про него знали, ели, радовались этой пище, а теперь про него все забыли даже сою на поле не сеют. Нашли другую пищу, а чурек – самое простое, естественное и понятное, навсегда ушло.

– А почему трудно?

– Трудно на людей смотреть.

Доев чурек, Хумач достал из сумки мяч и теперь сидел на земле, обняв его руками.

– Трудно, Хумач, от того, что не все люди такие, как ты, что не каждый может просто так, как ты, руками обнять землю. Просто, по-доброму и нежно сжать ее руками, чтобы земля не лопнула вдруг от усилий, не разорвалась под напором наших крепких рук.

– Мяч – это земля?

– Мяч – модель. Модель всего, что ты хочешь представить. Мяч – земля, мяч – жизнь, мяч – ты, я, все на свете люди.

Потом они вместе шли по полю: большой и маленький.

Мына шел по полю легко, мягко, словно огибая, обходя каждую травинку, проваливаясь в самую глубь поля и всплывая на волнах колышающихся травяных тел.

– Мына!

Мына был поглащен полем.

– Мына!

– Что ты кричишь?

– Ты совсем не мнешь траву!

– А зачем ее мять?

– Ее, конечно, не надо мять, но как же ты тогда ходишь? За тобой совсем не остается следа.

– Я просто не хочу наследить. Это, конечно, разные вещи.  
– Я тоже так хочу ходить – осторожно и легко.  
– Иди за мной. Только постарайся наступать туда, где я оторвал от поля ногу. Иди!

Мальчик занес ногу над невидимым следом Мыны и вдруг замер, забалансировал, широко расставив в стороны вспотевшие от волнения ладони. «А если промахнусь?» Сознание рисовало ему вне этих таинственных следов какую-то бездонную яму, промахнись он сейчас и кувыркаться ему в этом провале. И вот он – мир закрытых глаз его, – он падает и падает в бесконечность. Кто он теперь? Птица? Раскинуты крылья и он парит над пропастью, сорвавшись с обрыва. Внизу – жуть, чернота и, наверное, скользкая холодная колодезная сырость, к которой страшно и противно прикасаться. Нет, так не парят. Внизу, наверное, нет ничего. Зачем он бросился в этот провал? Была поляна, пахнувший сеном клевер, ароматный, живой и свежий воздух, а он оступился. Зачем он это сделал? Что внизу?

Внизу точка – бледное жалкое пятнышко – крупинка кукурузной муки, налипшая на прикрытые от страха неизвестности ресницы. Смахнуть ее руками и убедиться, что все это обман и внизу бесконечная пропасть. Руки – крылья, их нужно держать широко раскрытыми и никогда не складывать. Никогда, даже если внизу мрак холодного дна, но когда распахнуты крылья, ты не просто падаешь, ты немножко летишь. И это уже не так страшно, и это лечит сердце и не дает ему разорваться на куски от неизвестности.

– Точка – кукурузное зернышко, исчезни!

Уже кажется, что ты не крупинка муки, а целое кукурузное зерно. Вместе с тобой растет надежда, а зачем эта глупая надежда, когда сам ты – обман. Только нельзя складывать крылья, нельзя отметать своими крыльями последнюю надежду. Точечка, от тебя веет светом, теплом, вкусом голубого воздуха», запахом разогретого солнцем клевера.

– Ты – память?

– Ты – обман!

...Ты – поляна, с которой я оступился?!

Ты – прошлое.

Не мучай меня. Я сложу крылья и от страха и отчаянья разобьюсь о дно пропасти, если оно у нее есть.

«Никогда нельзя складывать крылья, тем более нельзя отметить ими надежду».

Поляна.

Поляна?

Внизу поляна, с которой я сорвался: мед клевера, голубой кисель воздуха.

Я парю. Я – птица. Крылья раскинуты в стороны и рядом новая надежда, Я сорвался, чтобы вернуться в нее!

– Хумач, ну что же ты! Сделай шаг! – Мына обернулся и посмотрел на Мальчика сквозь кисею незатоптанных трав.  
– Хумач!

– Я сейчас!

– Так разбегается аистенок, когда учится летать.

– Я сейчас, Мына.

Мальчик опустил, наконец, занесенную и замершею в нерешительности ногу. Прошла вечность и еще бесконечно много времени, прежде чем нога эта начала судорожно искать опору на глади поля, осторожно и нерешительно, как ищут ее на крохотной кочке среди зыбких болот или нащупывают свой путь в темноте. Наконец, она опустилась в теплую дрожь неизвестности и почувствовала, почти услышала невидимый след, притягивающий ее к себе. Теперь уже казалось, что промахнуться было невозможно. Маленькая ступня Мальчика сквозь кожаную подошву детского башмачка тонко чувствовала дрожь и легкое покалывание таинственного следа Мыны и теперь уже никогда, ни за что не могла ошибиться,

– Иди за мной, Хумач.

- Я иду.
- И, пожалуйста, думай.
- О чем?
- Хумач! Таких вопросов не задают!
- Ты же сказал, что я могу спрашивать о чем угодно, не так ли?

– Так, но сейчас ты спрашиваешь, о чем тебе думать, а мысли ведь или они есть, или их нет, а если они есть, то должны быть только твоими. Думай о чем угодно, о чем думается.

«Не мять ногами травы, не рвать цветов, не давить букашек. Ноги – пружины. Не слышать и навсегда забыть, как хрустит под башмаками раздавленный панцырь жука, как подошва скользит по расплюснутым, источающим сок листьям и траве».

- Уже лучше. Молодец, Мальчик. Только иди.
- Я иду.
- Ты сделал всего один шаг. Тебе трудно?
- Нет.
- Страшно?
- Нет же.
- Почему же ты остановился?
- Мына, а что будет, если я промахнусь?
- Ты снова думаешь об этом?
- Да, мне страшно.
- Но ты ведь только что говорил обратное!
- Мне страшно оступиться.
- Закрой глаза и не смотри под ноги.
- Тогда я точно оступлюсь.
- Глаза – не самый верный проводник. Попробуй почувствовать.
- Что?
- Не задавай же таких вопросов.
- Чувствовать и думать нужно самостоятельно?

- Да.
- Мына, а как ты думаешь, я умею чувствовать?
- Умеешь.
- И у меня получится?
- Получится. Иди и думай о том, что чувствуешь.

«Я чувствую... я чувствую... я чувствую... Я живой. Я расту из земли, ее соки – моя кровь. Свет неба омывает меня, как омывают травы росы. Я найду след живого человека. Нога моя пружинит и покалывает острыми иголочками. Это – след Мыны.

Я чувствую его! Как себя! Как траву, что прикасается к телу, как пару белых бабочек, летящих ко мне навстречу, как сердце земли, в которое уходят мои корни, как небо и ливень света, чистой силы и радости! Я чувствую!»

– Мына! Я сделал еще один шаг. – «Я чувствую? Глаза закрыты. Я чувствую! Может быть, это именно потому, что закрыты глаза? Почему ты молчишь?» – Мына, где ты?

– Поле – зеленая стена непрямых трав, поле, в котором нет дороги. Черный жук – блестящий уголек, повис на травинке, раскачивается, некуда ему больше ползти. Полз, полз – травинка кончилась, а назад не хочется и здесь страшно – вокруг все качается.

– Мына, где же ты? Я чувствую.

– Чувствуешь? Иди.

– Я уже сделал второй шаг. – «Теперь снова закрыл глаза и иду по твоему следу. Я чувствую. Это праздник. Это так же здорово, как теплый ливень, хлещущий по улице, когда тело устало и томится от многодневного ада духоты. Я чувствую! Это как запах умытых ливнем трав, как весенние голоса птиц, славящих майскую ночь, как волны теплого моря. Я – река, я беру свое начало высоко в горах, откуда видно прошлое, в ледниках памяти. Я обнимаю камни на твоем пути и гибкими руками обнимаю травы, в раскрытых ладонях я бережно несу скользкую пятнистую форель. Мне



кажется, что я проглотил диск солнца, раздробил его на искры бликов и рассыпал по руслу пути своего. Мне кажется, я зачерпнул ладонями небо и, промыв его холодной ледниковой водой, снова запустил ввысь, как огромную голубую птицу. Я – горный мед, густая струйка жидкого солнца, пахнущая лесом, пылью цветов и родниками гор.

Я – роза и пчела. Чувствую! Чувствую пчелу на розовом лепестке и розовый лепесток под пчелой.

Я чувствую! Мына!»

– Где ты? Я снова закрываю глаза.

«Шаг, шаг, еще шаг. Я... я ничего не чувствую теперь».

– Мына, мне страшно!

– Открой глаза.

– Нет. Мне страшно. Где ты?

– Открой глаза,

– Я ничего не чувствую. – «Я как мертвый камень».

«Камень не мертв вовсе. Он не – мертв потому, что в него ушла жизнь давно исчезнувших живых организмов, ушел свет солнца и энергия земли. Все спрессовано в камне и слито воедино».

«Тогда я – сухое русло».

«Нет, и в сухом русле кипит жизнь».

«Что же я тогда. Теперь я стал чем-то глухим, опустошенным бесчувственным, как сама смерть. Я мертв, Я не чувствую твой след».

«Мне не на чем его оставить. Открой глаза и постарайся все понять сам».

То, что предстало перед открытыми глазами Мальчика, можно было назвать «Ничего». Нельзя сказать, что он вообще ничего не увидел. Нет, глаза его были открыты и хорошо видели то, на что смотрели, но вот именно это и называется «ничего». Ничего живого.

За ним же, за этим «Ничего» снова начиналось поле – зеленое, живое, солнечное. Сквозь завесу травы оттуда на

Мальчика смотрел Мына, оттуда порывы ветра доносили запах клевера и тарахтение цикад и там, наверное, жили невидимые, но такие понятные следы Мыны. На «Ничего» ничего не было: не росла трава, не стрекотали насекомые, не жили запахи, звуки. Черная земля поглощала даже солнечный свет и казалось от этого пасмурной. Единственным живым существом на этой мертвой территории был Мальчик. Он медленно, словно на ощупь, шел вперед, растеряв разом все свои чувства и ощущения, кроме чувства страха.

Как черный гигантский паук лежала под ногами Мальчика эта странная земля, даже не земля, а страшная плешь какая-то, на которой сама земля была выедена и выжжена. Плешь эта постепенно снова переходила в поле, а между ними лежала некая пограничная полоса, на которой жалко трепыхались под ветром редкие, чахлые, дано скорчившиеся от нестерпимой боли растения. Ветер пересчитывал уродливые былины желтого клевера с дырявыми скрюченными листьями, соломины мятлика, сухие недоразвитые плети мышиного горошка и еще стебельки, кустики какой-то травы.

– Мына, кто поранил поле?

– Люди, Хумач, люди.

– Что они сделали с ним? Выжгли?

– Хуже. Они придумали ему пытку пострашнее огня.

Люди свалили на этом месте мешки с ядохимикатами, свалили и забыли про них, Дождь нашел этот склад, размыл бумагу мешков и вымыл их содержимое на землю. Несколько лет таяла под открытым небом и расплзалась по полю страшная отравка.

– Мына, а что это за жиденькая травка по краям этого...

– Мальчик искал и не находил названия деянию рук человеческих. Плешь что ли дальше расплзается? И Мальчику вдруг стало страшно от собственных мыслей. Он представил, как чернью щупальца этой мертвой зоны захватывают

новые и новые участки поля. Щупальца душат траву, перетирают и перемалывают в мертвую кашу крепкие тела жуков, поникшие от предчувствия беды цветы и травы, погибших от страха гусениц, пауков, бабочек, потом и саму землю, превращая все это в черный страшный субстрат, который колышется в середине плечи непересыхающей лужи, жутким густым болотом, еще более страшной мокнувшей раной на незаживающей ране поля, к которой страшно и противно прикоснуться даже ногой.

– Мына, а плешь расползается?

– Нет.

– А откуда тогда эта чахлая трава?

– Это она потихоньку захватывает и обживает мертвое поле. Осторожно, по краю жизнь пробирается, заживает рану. Только не один год, теперь пройдет, прежде чем загладится эта человеческая вина, забудется боль. Не одно травяное семя упадет в эту бесплодную землю, сгинет там бесполезно, прежде чем вернется сюда жизнь и заселят рану муравьи, жуки и другая живность, прежде чем едкое испарение смерти заменится здесь ароматами цветущих трав.

Смотри, этот ад похож на воронку, на пропасть, которая глотает свет, звуки, запахи, под ней, кажется, молкнут в каком-то траурном молчании все птицы и проваливается вглубь земли ветер.

Когда-нибудь и это место зарастет. Исчезнет черное болото мазута посреди него, а следы так навсегда и останутся неразличимыми на этом страшном клочке возрожденного поля, которое всегда будет хранить память о причиненной ему боли.

– Мына, а что это за трава? Жалкая, жидкая, собожженными листьями. Раньше я никогда не видел такой. Как сирота пристроилась в пограничной полосе между жизнью и смертью и не поймешь сразу, сама она живет или умирает.

– Это девясил, Хумач.

– Девясил?! Девясил, о котором говорила Накуа?! Нет же. Нет. В этой траве не может быть тех девяти спасительных сил. Она же сама еле держится за эту отравленную почву, чтобы не упасть под ветром.

– Ты не узнал девясила, Мальчик. Накуа описывала его тебе совсем не так. Она была права, когда говорила...

– Она ничего не говорила, Мына. Я сам ее узнать должен был. И мне казалось, что обязательно почувствую ее, если увижу.

– Я же говорил тебе, что на этом месте все чувства умирают.

– Как ты думаешь, в ней хоть одна сила из девяти осталась?

– Остались все девять, но они гаснут, гаснут и никому уже силы прибавить не смогут. Не укрепят они ни основ человеческих, ни желаний, ни стремлений. Такая трава самой себе не в радость, и никому не опора. Люди, выжегшие здесь землю, сами того не ведая, создали маленькую модель нашего огромного мира, Поле это – наша планета, планета полная жизни, радости и счастья, планета, которую люди травят и губят как хотят, забывая, что сами живут на ней. Сегодня мы – чахлая трава, существующая на границе между благодатью и вымиранием, только в жизни не все так, как на поле. В жизни пятно отравы расползается в разные стороны с угрожающей быстротой. И жизненная сила поля уже с трудом справляется со смертью. Люди пока еще могут повернуть все обратно, вернуть красоту и благоухание своему полю, но могут и перейти вместе с ним в небытие, в мертвую зону.

Девять человеческих сил еще теплятся в каждом из нас, но как в этой чахлой травке, они столь же малы и жалки, что могут угаснуть с минуты на минуту. В плечи людского бездушия уже навсегда исчезли с лица земли тысячи трав, деревьев и животных и еще столько же стоят на грани выми-

рания, в пограничной полосе, небытию и вместе с ними чахнет человек – живое существо, уставшее пить отравленную воду, есть сдобренную химикатами и удобрениями пищу, дышать ядовитыми испарениями машин, вытеснившими из городов чистый воздух и запах парков. Люди живут в клоаке собственных желаний и деяний, совершенствуют мир, насилуя Природу и радуются, что обеспечивают благосостояние будущим поколениям даже не задумываясь, что поколения этим в сущности негде будет жить, если омертвление живого будет продолжаться с такой же быстротой, как и сегодня.

ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ, БОРОТЬСЯ, ЧУВСТВОВАТЬ, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, ТВОРИТЬ, КОПИТЬ ЗНАНИЯ, МЫСЛИТЬ, ДАВАТЬ ПОТОМСТВО – эти девять сил и стремлений пока еще живы в человеке, как девять свечей, но как свечи, они будут догорать и гаснуть, если не зарастет эта проклятая мертвая зона.

Я ушел в лес искать лекарство для всех. Я очень хочу найти их и передать людям, доказать, что все, что они стараются взять у Природы топором, отравой и оружием, можно получить бескровными путями. Человек совершенен по природе своей, но сам он еще даже и не догадывается, насколько гениальным сотворила его природа. Было бы глупо подбрасывать твой голубой мяч в воздух и говорить, что он не летит выше потому, что выше ничего нет. Просто мы не можем, не умеем и не хотим вырваться за пределы своих возможностей, мячиком выпрыгнуть за пределы привычного.

Великая жизненная сила человека подтачивается болезнями, которые множатся из года в год. Хвори разрушают могучий и совершенный человеческий организм, а сам человек вместо того, чтобы искоренить их причины, очистить себя от склада ядов, выпитых, съеденных и вдохнутых с воздухом, лекарствами заглушает последние проблески жизни.

Так гаснет первая свеча, и в мир приходит одно поколение людей слабее другого. Болезни множатся, передаются по наследству.

Тут Мына вдруг замолчал.

– Говори, Мына.

– Все, Хумач, мы сегодня и так с тобой далеко зашли. Пора возвращаться домой, а то дороги не найдем.

– Как это не найдем?

– Так: трава высокая и ногами не примята. Как обратно пойдем?

– По следам, Мына.

– По следам? Тогда веди меня обратно.

Козочка продолжала пастись, отмечая своим присутствием место, с которого Хумач и Мына начали свое путешествие по полю. Ворона, нахохлившись, сидела на запрятанном в сумке мяче, поджав под себя лапки и подобрав крылья, как маленький, чуть-чуть обиженный, но недремлющий страж, охраняющий покой этого поля.

– У тебя в сумке, наверное, лежит арбуз? – спросил Мына, кивнув на возвышающуюся на постаменте Ворону.

– Откуда ты знаешь, Мына? Я же не говорил тебе об этом и даже ничего не думал такого.

– Это при мне не думал, а раньше?

– Значит ты слышал то, о чем я раньше думал?

– Зачем? То, о чем ты раньше думал, в тебе и осталось, отложилось в особой копилке мыслей, а я их потихоньку вытаскивал.

– У меня в сумке мяч. Хочешь поиграем?

– Хочу, а как играть будем?

– Ты что, не знаешь как в мяч играют?

– Не помню просто.

– А ты в своей копилке памяти поройся, может что-либо и отыщется.

– Нет, Хумач, бесполезно там рыться. Ничего там не отыщется. У меня в детстве никогда мяча не было.

Сначала Мальчик подумал, что такого быть просто не может, чтобы у человека никогда в жизни не было мяча. Наверное, Мына обманывает его. Потом ему очень захотелось, чтобы все, о чем он только что подумал, ни в какой копилке мыслей не отложилось.

– Тогда, Мына, я буду тебя учить играть в мяч. Хочешь?

– Хочу.

– Становись напротив меня, будем считаться.

– Что делать будем? – недоверчиво переспросил Мына.

– Считаться, считаться.

– Как это?

– По-разному можно. Вот так, например:

Катится по кругу мяч,

Где вприпрыжку, а где вскачь,

Сам ведущего находит:

Кто с мячом, пускай и водит.

С мячом остался Мына.

– Вот, у тебя мяч, – быстро, словно продолжая свою детскую считалочку, скороговоркой проговорил Мальчик. – Только ты все равно не знаешь, как водить. Игра называется десятки. Я буду играть первым.

Смотри:

Десять раз правой рукой мяч от земли отбивает,

девять – левой,

восемь раз правым коленом подбросить,

семь – левым,

шесть раз головой,

пять раз сделай так: сильно ударь мяч о землю и пока он отскакивает, через правое плечо повернись,

четыре – так же, только через левое,

три раза подбей его носком правой ноги,

два – левой, а потом подбрось его как можно выше один раз.

– Понял? Попробуй теперь сам. Лови мяч. – Мальчик перебросил мяч Мыне. Тот поймал голубой резиновый мяч и стал с интересом рассматривать его. Большие сильные пальцы его обхватили мягкие бока забавной детской игрушки. Теперь он улыбался чему-то, быть может, радовался той совсем запоздалой детской радостью, нежно поглаживая ладонью поверхность.

– Ну что же ты, Мына?! Начинай!

– Хумач, можно я начну с конца? Я один раз подброшу мяч и поймаю его.

– Как хочешь, – пожал плечами Мальчик. – Только это потом делается: от одного к десяти, а начинается с десятка.

– Я просто один раз подкину его.

– Подкинь, – еще раз пожал плечами Мальчик.

Не отрывая внимательного взгляда от мяча, Мына медленно вынес его перед собой, а потом, осторожно, словно не желая надолго расставаться с забавной игрушкой или выпуская птенца в первый полет, подбросил его вверх совсем невысоко и, едва успев выпустить из рук, тут же поймал в раскрытые ладони, как ловят подкинутого в великом умилении маленького ребенка.

– Нет, Мына, это очень низко ты подкинул. Так всегда ты будешь проигрывать, потому что, если все одинаково сделали упражнения и ни разу не ошиблись, то побеждает тот, кто сумел подбросить свой мяч выше других.

– Хумач, а ты покажи, как надо бросать мяч, – попросил Мына, перебрасывая игрушку Мальчику. Тот, едва только поймал мяч, постарался зашвырнуть его как можно выше и для этого даже слегка присел, используя согнутые ноги как пружину, некий толкающий механизм.

– Понял? – гордо спросил он у Мыны. Не понять было просто невозможно.

– Да-а-а, – протянул Мына. – А еще выше можешь?



– Могу, – уверенно ответил Мальчик и, тут же размахнувшись, послал мяч еще выше.

А сильнее. Еще сильнее размахнуться можешь?

– Нет, наверное, но я и так бросаю мяч выше других мальчиков в нашей ахабле. А зачем тебе?

– Хумач, а ты знаешь, что это не просто мяч? – спросил Мына совсем тихо. – Это же целый учебник.

– И что же по нему выучить можно? – удивился Мальчик.

– А что хочешь, хоть целый мир. Все правила, законы, все самые непонятные и сложные вещи.

– А что, девять девясилых сил тоже узнать можно?

– Можно, еще как! Вот смотри, например: ты умеешь высоко бросать мяч, пускай ты делаешь это даже лучше всех, твои движения совершенны, но ведь еще выше, куда ты не можешь послать свой мячик, он бы тоже мог лететь. Ведь там нет крыши, там простор без конца и без края. Представь себе, что сам улетаешь ввысь вместе с этим мячиком. Разве тебе не интересно, что там высоко, куда ты пока долететь не можешь? Нужно только поверить, что ты все можешь и все получится на самом деле, только нужно очень стараться и тогда неудержимым мячиком ты вырвешься за пределы сегодняшних своих возможностей. Это и есть одна из сил чудесной травы – сила самосовершенствования.

– А еще какие силы в этой траве живут?

– Потом расскажу, в другой раз.

– Завтра?

– Завтра или в другой день.

– А как я узнаю, что мы с тобой встретимся?

– Приходи сюда каждый день, и я сам тебя разыщу.

– Только ты приходи обязательно, – робко попросил Мальчик. Не исчезай никуда, пожалуйста.

– Ну, куда же я могу исчезнуть, пока про девясил до конца не расскажу?!

В старенькую плетеную апацху, что на краю села, в дальние еще времена забрела какая-то неподвижность. Забрела, да и осталась в ней навсегда. Вместе с ней остановилось и время, а с ним остановилось все. Вокруг все менялось, двигалось куда-то, рушилось и переделывалось, а апацха только старела, ветшала, чернела от срока, посещавших ее невзгод и осенних дождей. Старела в хлопотах хозяйка апацхи, а рядом с ней рос мальчик – ее сын. Другие апацхи в селе давно заменили свои рододендроновые стены на модные из фигурного кирпича, захламлились, и из главных помещений двора перекочевали в разряд подсобных, второстепенных, а затем опустились и вовсе до значения складских.

Старая же рододендроновая апацха продолжала жить своей тихой, не тревожной переменами жизнью. Из плетений решетки, как и в старые времена, тянулись струйки голубого дыма, на подъемной чугунной сковороде пеклись чуреки.

Путники, гревшиеся у скромного не остывающего этого очага, говорили всегда о старом времени. Здесь вспоминались вдруг давно забытые были и легенды. Здесь оживало вдруг то, что люди не взяли однажды с собой в будущее, что не дошло до сегодняшнего дня, исчезает вместе с уходящими стариками: слова, понятия, потерявшие былую свою ценность.

Оставшись в молодости без мужа, женщина навсегда обрела себя на вдовью долю, состарилась, так и не выйдя замуж. Она воспитывала своего сына одна, как это делали в старые времена все овдовевшие женщины. Она всю жизнь не снимала черной одежды, износив одно скорбное платье, шила себе другое. Из года в год она сеяла на своем поле сою для чуреков, и на последнее в селе ее соевое поле приходили зайцы полакомиться зелеными побегами и строчками, а маленький сын, спрятавшись в зарослях, иногда отслеживал

их. Пара бродивших с коровами буйволов была ее парой, а сама (она) даже и не замечала, что все остальные селяне буйволов давно извели, а буйволиное молоко она раздавала больным и детям. Из маленького ее одноэтажного дома на сваях были видны многоэтажные строения соседей, но она никогда не завидовала им, трех, комнатушек в доме хватало и им с сыном, и редким гостям, а большой дом в такие холодные зимы, какие выдавались в последние годы в их краю, ей было не обогреть.

Муж ее покойный роднею был не богат. Овдовев, женщина жила скромно и незаметно, дальше села соседей не знала, работала, растила сына, принимала гостей как могла, оплакивала покойников, помогала соседям накрывать большие праздничные столы. Звали женщину Кодор, сыну с мужем они дали имя Мына. Ни в честь родни, ни в честь друзей, просто так – Мына. Муж только что и успел назвать сына, а порадоваться первенцу как следует смерть не дала. Мына рос в этом маленьком домике на сваях и сколько помнил себя, всегда жил ожиданием матери, ожиданием завершения ее бесконечных домашних дел. Мать он любил и с самого детства ни с кем, кроме нее да редких гостей не общался.

Вдовство Кодор возложило на нее долю хозяйки и хозяина дома, а дом без гостей – не дом, он продолжает жить, если в него приходят люди.

– Эй, хозяин дома? – кричит всадник, остановившись у ворот.

– Дома, заходите, – отвечает мать, впуская гостя в дом. Это была простительная маленькая ложь, которую она позволяла себе во имя того, чтобы гость не прошел мимо ее дома. Не стыдно признаться человеку в том, что ты вдова, стыдно видеть спину уходящего от запертой калитки путника, решившего не стеснять своим присутствием одинокую женщину. Да и лжи-то было в ее словах не так много,

она и в самом деле была и хозяйкой, и хозяином в этом домике на сваях.

Маленький обман женщине не поминали, угощение от щедрот ее принимали без стыда, а потом искали способ отплатить ей за гостеприимство: роднились с ней впрямую и помогали по-родственному или благодарили за хлеб-соль и уходили в предрассветную мглу, чтобы никогда больше не нарушать покоя этого дома, а через несколько дней возвращались, приходили тихо, тайно ночью, ночью и уходили, а поутру вдова находила в своем дворе привязанного к забору козленка или даже уже по осени, собираясь ломать на поле кукурузу, находила початки уже обломанными и сложенными в аккуратные кучи на подстилке из чалы.

Когда Мына был маленьким, он даже и не подозревал, что жизнь делится на месяцы и тем более недели. Были праздники, когда они с мамой ходили к священному дубу, куда собиралась вся ахабла, но чаще были будни, будни без воскресений и выходных, когда он ждал мать с работы, с поля, с мельницы. Он очень любил мать, любил так горячо и нежно, как умеют любить матерей дочери и еще дети, растущие без отцов. В будни случались особенные вечера, те самые, в которые приходили гости. В эти вечера Мына устраивался в углу апацхи и из непроглядной его темноты молча смотрел на гостей. Гость вел свои удивительные рассказы о старом времени, о людях, вошедших в легенду, а мальчик слушал его, стараясь не пропустить ни одного слова и хотел только одного: чтобы вечер этот никогда не кончался.

Вечер вроде бы и не кончался, а сразу переходил в утро. Под мерный голос рассказчика маленький Мына засыпал и продолжение историй из прошлого видел уже во сне. Утром, когда солнце будило мальчика, гостя в доме уже не было, мама с зари работала в поле. Жизнь текла дальше, одинаковая, тихая, ровная.

Кроме мамы, Мыны, буйволов в доме жил еще маленький лопоухий пес, рыжий, криволапый, добрый щенок, Мына помнил его щенком с тех пор, когда еще сам был маленьким, щенком эта собака осталась в его памяти на долгие годы. Сначала он все ждал, когда пес вырастет, но когда тот однажды пришел домой побитый, несчастный, ободранный, тихо скулил, словно жаловался Мыне на людскую жестокость, мальчик понял вдруг, что пес его не просто маленький ростом, но уже взрослая и даже старая собака.

Тяжело дыша, старый щенок его еще несколько дней, переваливаясь с лапы на лапу и тяжело дыша, побродил по двору, тихо поскуливая на зов Мыны, а в один из жарких дней заполз под дом и прислонившись побитым своим телом к старой свае, издох,

Мына через годы пронес с собой детское воспоминание, ощущение собственной пронизывающей боли, которое испытывал, надрываясь от слез над холодным телом своего рыжего пса. Сложилась и перемещалась в единое целое жалость к старому своему щенку, боль и обида, будто бы его самого тот жестокий человек поколотил палкой. Потом Мына болел, и болезнь заполнила собой время тоски. Тоски как таковой не было. Выздоровев, Мына понял, что ему не с кем играть, что рядом не осталось ни одной живой души, которая скрашивала бы его одинокое существование в долгие часы, когда нет в доме мамы. Все остальные живые существа в доме, которых он считал своими друзьями: куры, коза, старый кот – были похожи на взрослых людей, умных, добрых, но не умеющих играть.

Когда подрастала соя, на поле приходили зайцы. Серой стрелой, опережая звук собственных шагов, влетал на поле этакий ушастый метеор, влетал и вдруг останавливался. Остановится, вытянется на задних лапах, уши торчком поднимает и слушает, какие звуки по полю летают. Серая заячья фигурка его напряжена, вылеплена из ожидания опасности.

Потом, шнырь в заросли и давай сою есть. Спешит, спешит, словно за ним гонится кто-то, зубы стебельки сои срезают, перемалывают, а глаза по сторонам бегают, ищут все, высматривают что-то. Вдруг снова уши торчком, лапы к грудке прижаты – стоит, слушает поле. Послушает и снова сою ест. Ест, ест и как будто не наедается, вот так не наевшись и убегает с поля, оставит гибкий соевый стебелек надрезанным, уши поднимет, прислушается и давай бегом спасаться от почудившейся ему вдруг опасности.

С зайцами особенно не поговоришь, им не до игры – всегда в поисках еды, всегда напуганные: глаза, уши, усы – все опасность ищут.

«Голодный?» – спросит Мына бывало, глядя на серого, который поглощает сою. Заяц перестанет жевать, посмотрит на него жалобно, испугано: «Голодный...» и снова ест.

«Страшно?» – спросит Мына.

«Очень». – «Ты погоди сюда несколько дней приходить, мама просила соседа с ружьем поле покараулить».

Еще никакого ружья нет, а заяц уже оставляет недоеденный соевый стебелек и ну бежать. И в самом деле потом в поле не появляется.

По ночам в клочках не вырубленного еще в селе леса появлялись волки и выли оттуда на луну. В такие ночи соседи по гостям ходить боялись, хотя Мына не помнил, чтобы волк хоть раз напал у них в селе на человека. Волки приходили в село петь, считал мальчик. Людям вой не нравился, да и кому же в удовольствие слушать песни про свою жестокость. Никто, конечно, смысла их не разбирал, но сердцем каждый чувствовал скрытое значение каждого звериного подвывания, про хорошее так тоскливо ни человек, ни зверь петь не станет. Ночью Мына открывал окно и слушал рассказ о бедах стаи. «Далеко пришлось уйти нам от родных мест. Нет уже тех лесов, где стерегли мы диких животных. Вырубили наши леса», – тянул один голос, замирал и таял в

прохладном воздухе, не в силах держать больше скорбный свой рассказ.

«Пастухи устроили облаву, гнали нас как бешеных псов в пропасть. Тот спасся, кто нашел в себе силы повернуть назад, броситься навстречу пуле. Только тот вырвался из смертельного кольца. Нет среди нас наших волчат», – подхватывал страшную песню другой.

«Собаки забыли честь, забыли совесть, забыли, что из одного рода с нами. Пресмыкаются перед людьми за жалкую подачку еды, гонят нас, как презренных недостойных тварей», – злобно подвывал третий.

«В этом году ни одна волчица нашей стаи не успела выкормить своих волчат, да и волчиц – то, способных стать матерями, не так много в стае осталось. Живы лишь те, кто, ошалеv от страха, побросал своих детей и позорным бегством спасался от пули и разъяренных псов. Те же матери, что пытались защитить свой выводок, погибли у нор своих и никогда не приведут в стаю нового пополнения молодых крепких волков», – оплакивала свою долю старая волчица. Ее голос Мына знал лучше других. Волчица эта была подругой вожака стаи, которого недавно застрелили охотники, и несколько ночей подряд она рассказывала луне о том, какой сильный и умный волк погиб в горах, как подстреленный пулей, истекая кровью бросился он в ущелье, чтобы с остывающего его тела люди не могли снять шкуру.

Люди, не желая признаться, что понимают песню животных, гнали их от села выстрелами в небо, словно хотели выстрелить в луну и погасить огонь, к которому волки обращали свои ночные мольбы о помиловании рода.

Прикрываясь грохотом грозы, шумом ночного дождя и гнущего деревья ветра, волки нападали на сараи, резали и уносили скот. Если Мына не спал такой ночью, то всегда знал в чьем овине с кровью уходит из перерезанного горла жизнь козленка или крупной овцы. В грозу смертного бля-

ния животных слышно не было, но жизнь их, угасая, слабым порывом ветерка стучалась, видно, во все стены сарая и через щели вырывалась наружу, говоря напоследок всем, кто мог слышать ее: «Я гасну, чистой родниковой водой из разбитого сосуда утекаю в небытие».

Мына не осуждал волков. Он никогда никому не говорил о том, что слышал и чувствовал сам и только однажды, заметив, как из освещенной пламенем очага их апацхи выходит засидевшаяся допоздна соседка, крикнул ей:

– Тетя Кама! Ваш младший сын пошел запереть от грозы сарай, а в нем волки, они напугают мальчика.

Соседка бросилась в дождливую темноту ночи. Наутро она рассказывала матери Мыны, что волки едва не растерзали ее мальчика и даже, якобы, хотели вырвать сына из ее рук, когда она спасала его, изо всех сил прижимая к груди, но потом, зарезав здоровенную козу и до смерти перепугав стельную корову, скрылись в поле. О Мыне, который сквозь грозу крикнул ей о беде, она не вспомнила. Сама беда, представлявшаяся в ее воображении страшнее, чем была на самом деле, стерла, в сотрясенном страхе ее сознании, голос мальчика. Потом, она, правда, говорила, что почувствовала все, что должно было случиться, что сердце подсказало ей о несчастье.

Еще у Мыны был целый сад старых деревьев, но они ничего интересного рассказать не могли: все про дожди да про бураны, а то еще под ветер начнут спорить, какой год был самым урожайным. Яблоки, груша, айва в основном спорили с виноградом, у них года не совпадали, а хурма-королек вообще утверждала, что самым урожайным был год Большого снега, но только никто этого не помнил, потому как многие деревья тогда погибли, а вот хурма помнила, потому что в тот год сама родилась хурмой, «в княжеском саду», не забывала добавить она в конце. «Все равно у тебя середина черная», – говорила ей обыкновенная хурма, как и все дере-



вья, не любившая королек. Добряк-инжир вообще говорил, что неурожайных лет не бывает, у него и вправду что ни год – ветки от плодов ломились.

В общем-то все разговоры были от того, что для разных деревьев разный год удачным был. Каждый день деревья заводили один и тот же разговор: персик, алыча, мушмула... с утра до вечера «ля-ля-ля-ля-ля». О дождях, о морозах, о буранах.

Молчал только старый орех. Он рос посреди двора и к саду себя не относил, но когда Мына просил его, он охотно рассказывал истории, которые помнил.

«Акакан, Расскажи мне что-нибудь», – просил Мына, усевшись под раскидистой кроной ореха.

«Что тебе рассказать?»

«Что помнишь из прошлого».

«Помню, что на этом месте и далеко вокруг был лес, – покачивал кроной великан. – А в лесу росла ореховая роща, и я в этой роще жил».

– Ты, Акакан, наверное, был самым красивым деревом?

– Нет, что ты, Мына, были деревья побольше и получше, чем я. А я тогда совсем подростком считался: так, не прутик уже, но ствол еще гладкий был. Потом лес понемногу вырубать стали, но мы даже и думать не смели, что когда-нибудь вместо него будет сплошная плешь полей.

– Акакан, а как же тебя не срубили?

– Меня мать спасла.

Твой дед пришел на это место дом строить. Целый день, помню, рощу от ежевики расчищал, а ночью лег спать, расстелив бурку под сенью старого ореха, который дал мне жизнь. Этот орех – мать моя, она еще по весне говорила: «Все, сынок, плодоношу в последний раз, умру к зиме». Мне ее жалко было, но видя, сколько плодов на этом дереве зрело, надеялся втайне, что она еще поживет. «Если столько сил в ней осталось, стоит ли так рано умирать?» – думал

я, тогда молодой зеленый прут. Это теперь понимаю, что, предчувствуя смерть, живое существо старается как можно больше плодов после себя на земле оставить: орех – орехов, человек – дел, а тогда я даже успокоился и думать про плохое забыл.

Так вот, лег твой дед спать под кроной материнского дерева и я сам заснул в ночи, а ночью случился ветер такой силы, что листья с деревьев облетели. Орехи к тому времени поспели уже, ветер их тоже сшиб на землю, На утро стал твой дед орехи в кучи собирать, подошел ко мне и чуть не по колено в плодах завяз.

– Вот это да! – воскликнул он. – Какой молодой Акакан, а орехи под тобой как под хорошим великаном в урожайный год! Я тебя, пожалуй, не стану рубить, оставлю, будешь посреди двора у меня стоять, как хозяин, почетные столы под твоими ветвями накрывать стану.

Как сказал, так и сделал. Не тронул меня. Сон, говорил, мне приснился ночью, что вроде во дворе у меня могучее дерево растет. Я думал то, под которым спал сегодня, а получается, что ты! Пускай ты пока не так могуч, вырасти успеешь еще, лишь бы плодоносил как в этот год!

Откуда ему тогда было знать, что материнское дерево под ветром все свои плоды ко мне скинуло, чтобы человек меня пощадил.

Дед твой рощу рубить с моей матери начал, да только она уже мертвой была, не чувствовала, как топор по ней стучал.

Остался я один стоять посреди двора. Тогда еще не скучно здесь было: вокруг дедовского дома лес рос, а люди так далеко друг от друга жили, что если до ночи в гостях засиживались, домой уже возвращаться не решались – лес, ночь, шакалы были по окраинам. Потом лес стали отодвигать все дальше и дальше от дома, и остался я один как перст, побежал бы за лесом, да бежать некуда, хоть и ноги были бы, в перелесках, что еще меж домами зеленеют, старых деревьев

не осталось. Разная у них судьба: кто в дома сложен, кто в мебель выделан, а чей прах ветер далеко разнес от очагов, где они сгорели. Из стариков, что помнили то время, живы были, пожалуй, я да священный дуб посреди поля. Меня дед твой сберег, а дуб – кто тронет? Он – святое дерево. Вот мы с ним ветвями и перемахиваемся.

– Скажи, Акакан, а почему ни одно дерево в селе больше тебя орехов не дает?

– Я, Мына, на своем месте расту. Здесь родился, здесь и умру. Потом, нельзя же мне ваш дом обделить. Раз дед выбрал меня из рощи, значит, за целую рощу орехов давать и должен.

Немногочисленные попытки Мыны наладить какие-либо контакты за пределами двора закончились крахом: дети отвергли Мыну, обозвав его вруном и хвастунишкой, когда тот стал им пересказывать истории старого Аакана, переводить голоса птиц. Взрослые быстро окрестили подростка дурноглазым, хотя время от времени и приходили в дом Кодор поведать о своих бедах. Мать звала Мыну, и люди рассказывали про разъяренного молодого бычка или про курицу – нерадивую мать, терявшую каждый день по одному цыпленку из выводка. Тогда Мына шел к хозяину бычка и находил у связанного ревущего животного железную занозу в копыте. И курица оказывалась не такой уж плохой матерью: одичавший за лето здоровенный соседский кот таскал каждый день по одному цыпленку из ее выводка, а бедная курица горевала не меньше хозяйки, просто ей некому было рассказать про свою беду.

Однажды соседская корова вернулась домой без теленка. Хозяин искал теленка по всем окрестным перелескам и к ночи, совсем выбившись из сил, рассказал все Мыне. Мына пошел к корове, и та перепуганная до смерти, со слезящимися жалкими глазами и переполненным молоком выменем, к которому не подпускала хозяйку с подойником, по-

ведала мальчику о заболоченном лесочке, где она с теленком скрывалась от зноя и где теленок провалился в трясины. Мына тут же указал хозяину место, где искать пропажу, и тот вытащил из болота вконец обессиленного теленка. Топи под ним не было и, провалившись, он просто завяз в жиже и никак не мог выбраться оттуда. Мокрого, пахнущего гнилой водой теленка хозяин нес домой на руках, а, принеся, положил под мать. Он так жадно пил молоко, что хозяйка решила в тот вечер не ходить к корове с подойником.

Потом Мына заметил, что в доме, куда он приходил, начали прятать от его глаз грудных детей, что встревоженная свекровь загоняет в апацху молоденькую невестку, видно прознав, что та уже беременна и боясь, что она попадетса на глаза странному юноше, дурноглазому, хотя, видимо, и доброму по натуре.

Как гром прокатился по ахабле страшный слух, что будут рубить священное дерево. Как гром сотряс он сознание людей, и от дома к дому ветром полетели разговоры: наши семьи растут, а земли не прибавляется, поля уже отказываются прокормить их, даже удобрения перестали помогать, урожаи падают с каждым годом. «Нужно распахать священное поле. Если мы приняли переселенцев, мы должны помочь им прокормиться на нашей земле».

Мына восстал, слыша боль и стон земли, он, тихий и незаметный до того времени юноша, стал умолять седых стариков, упрашивать уважаемых мужчин, годившихся ему в отцы, не трогать заповедной земли, объясняя, что под плугом погибнет великая кладовая природы, что сами обеднеют они, превратив священное поле в кукурузное. Сердцем старики понимали слова юноши, умом же больше оправдывали своих взрослых сыновей, видя, как с каждым годом все труднее и труднее тем кормить свои семьи. Именно тогда Мына услышал, как его впервые назвали сумасшедшим. Он не обозлился, не обиделся, он отступил, поняв, что уже

не сможет доказать людям своей правды. Сознание же его, словно по инерции все еще продолжало искать выхода из созданного людьми обидного круга понятий и представлений о живом мире, пока он окончательно не убедился, что сам находится за пределами людского понимания, как зверь, загнанный в клетку или стонущее под топором дерево. Не обида и злость бушевали в сознании юноши-изгоя, боль и страх за ближних своих разъедали ему сердце, собственное бессилие жестоко терзало его.

– Акакан, я ухожу в лес.

– ...Уходи.

– Ты осуждаешь меня?

– Да, ведь ты единственный, кто в силах рассказать людям правду на их языке.

– Я, наверное, плохо рассказываю, Акакан. Они не слушают правды, а меня считают сумасшедшим.

– Ты предаешь их?

– Нет. Никогда. Я ухожу в лес добывать знания, чтобы спасти людей и все живое вокруг них. Придет время, когда они станут людям необходимы.

– Ты хочешь установить Великое Равновесие, мальчик?

– Да, Акакан, я хочу объяснить людям, что они есть частица великого живого Царства, которое не должны разрушать, что они не что иное, как ребенок, вечно живущий в утробе Великой Матери – Природы и не имеют права изнутри убивать ее.

\* \* \*

Сумерки спускались с гор и дымчатой кисеей цеплялись за ветви деревьев, сгущались, постепенно становясь плотнее и прохладней. Так, прячась под покрывалом вечера, в село пробиралась ночь.

Проводив Мальчика, козу и Ворону до края поля, Мына разлегся в траве и, укрывшись этим темнеющим одеялом

вечера, стал ждать, когда на небе зажгутся первые звезды – его путеводные маяки в дальнем путешествии. Когда звезды пробьются сквозь черноту ночного неба, Мына встанет и быстро пойдет по спящему селу в дом своей матери Кодор. Так он делал всегда: дождется безлюдья и полями, да задворками домов идет в свой родной двор.

«Странно, смешно и... страшно, – думал Мына, заглядывая в густое беззвездное небо. – Жить для людей и избегать встречи с ними. Так сам себе начинаешь казаться сумасшедшим в этом сумасшедшем мире. Может быть, Акакан был тогда прав, пускай даже не договорив, чтобы не обидеть меня. “Великого Равновесия еще никому не удалось установить?!” Но я же не один его хочу восстанавливать. Вот нас уже двое, а потом будет целый мир».

Такие мысли посещали Мыну не часто. Среди трудов, забот и размышлений над вещами куда более ценными и важными, отдыху почти не оставалось места, а сомнения посещают лишь в праздности. Время было для него единственно ценной и неразменной монетой, которую он считал достойным тратить лишь на знания.

Проводив в этот вечер Мальчика, он еще некоторое время мысленно вел его до дома, хотя большой надобности в этом излишнем опекунстве и не было, а потом повалился в траву и стал высматривать звезды. Это были отдых, забытие и путешествие одновременно. Чтобы оправдать это временное отступление от многолетних своих забот, он мысленно попросил Мальчика, уже входящего в это время во двор своего дома: «Ты, Хумач, посторожи немножко мир, пока я посплю тут». «Хорошо, посторожу», – отвечал ему Мальчик, уже наливая свежей воды в миску для козочки. «Посторожу, не беспокойся», – добавлял он, выбирая из корзины с кукурузой самый крупный и желтый початок для Вороны. Потом он шел осматривать сорняки и гусениц в огороде, кур в курятнике, затем набирал в лейку воды, чтобы полить

спасенную им траву за сараем. Мына же тем временем отправлялся в свое удивительное путешествие по молодой звездной дороге от одного большого ночного светила к другому. Звезды смотрели на него чистыми глазами и было в небесных глазах столько проникновенного добра, участия и понимания, что Мыне навсегда захотелось остаться на этой светлой дороге звезд. Он летел меж звездных огней, и метеоры прокладывали линии его пути. Внутри его что-то обрывалось и дрожало как во время головокружительного прыжка с большой высоты, сознание его блуждало в далеких, доступных одному лишь воображению галактиках, кружило его в хороводе метеоров и звезд.

– Мына!

– Не буди меня!

– Я нашел девясил. Знаешь где? За сараем на свалке. Это та трава, которую я поливал! Я к ней так привык, что даже и не догадался сразу.

– Хорошо, Я все понял.

– И я тоже понял,

– Что же?

– Что нет ничего ненужного на земле. Что все когда-нибудь пригодится.

– Молодец, ты хорошо усвоил этот урок, Мальчик.

– А где ты был, Мына? Я до тебе еле докричался. Ты так крепко спал или уходил куда-то?

– Я не спал, а путешествовал.

– Где?

– В звездах, там, где нет дорог.

– А я могу там путешествовать?

– Да, если очень захочешь.

– Я уже очень хочу.

На черном бархате ночного неба сияли отмытые ночной росой крупные чистые звезды.

– Засыпай, Хумач, поздно уже.

- Мына, а ты придешь завтра на поле?
- Приду.
- Тогда я буду спать, чтобы завтра поскорее наступило.

\* \* \*

Мать Кодор всегда знала, в какую ночь придет к ней Мына. И в этот раз проворная сухонькая ее фигурка с раннего вечера уже суетилась в апацхе и к наступлению ночи, далеко, до самого поля тянулся запах свежее испеченного чурека. Только вот запаха чурека уже никто не помнил, для всех ветер разносил из апацхи только дым, и только Мына шел на заветный этот запах, различая его из тысячи других.

Раскинув могучие ветви, обнимал старую апацху Акакан.

– Мына, хорошо что ты сегодня пришел домой.

– Акакан, ты не спишь еще?

– Нет. Тебя караулю. У меня первый орех поспел и сегодня утром в траву закатился. Он как раз где-то там у тебя под ногами должен быть.

– Найти его, что ли?

– Найди, только место заметь, где он лежит, а орех спрячь. Я, Мына, последний раз орехи вам даю. Умру к зиме. Хватит уже сок из земли пить, да с ветром ветвями хлестаться. Ты орешек этот не коли, сохрани его до весны, а тогда в землю зарой, пускай вместо меня здесь растет. Только место заметь обязательно, мы – порода лесная, где плодом упадем, там и жить нам. Сохрани его до весны, а то если свинья чья забредет и съест его или так просто пропадет – обидно, в нем хорошее дерево заложено. Будет оно вместо меня здесь стоять.

– Побереги орешек.

– Я все сделаю, Акакан, но ты, может, передумаешь умирать?



– Нет, конец моему веку, Мына, Мы с тобой еще поговорим о разном, не сегодня же я засохну, нужно еще другие орехи дорастить, побаловать тебя напоследок. А пока я тебе вот что скажу: пора тебе из леса к людям возвращаться, а сейчас иди к матери. Она с вечера чуреки печет.

Когда Мына заглянул в приоткрытую дверь апацхи, мать, склонившись над очагом, снимала со сковороды розовый чурек. Слабые ее руки дрожали, держа сковороду на весу, а чурек, снятый с огня, помахивал на весу поджаристыми краями, сел на белое поле тарелки. Чурек, который печет мать на твоих глазах, самый поджаристый, самый вкусный... В детстве Мына, обжигая пальцы, обламывал поджаристые края лепешки и, перебрасывая в ладонях румяную корочку, прятался за спиной матери. Не от гнева ее прятался, какой там гнев, она жила для сына, прятался, чтобы та, посмотрев на надломленный чурек, недоуменно спросила: «Кто сейчас заходил к нам, Мына?» Мына засмеется тогда и, достав из-за спины отломленный чурек, поделит его пополам: себе и маме, а мать надкусит кусочек лепешки и улыбнется сыну, улыбнется так светло и по – доброму, что Мыне захочется еще раз такую проделку с лепешкой повторить, чтобы повторилась эта мамина улыбка, От нее мама делается моложе и так будто даже счастливее.

Мына на цыпочках пробрался в апацху, потихоньку отломил от готового чурека краешек, пока не видела мать и, присев на скамеечке у очага за ее спиной, спрятал в ладонях лакомство. «Странно, – думал он, стараясь почувствовать тепло лепешки. – Чурек почти не жжет руку, а в детстве, помню, его еле удержать мог».

Мать, как ни в чем не бывало, пристраивала на сковородке новый чурек. Делала она это не так быстро и ловко, как прежде. Мына молча жевал кусочек лепешки, ожидая, когда она обернется и увидит его. Кодор, расправив на ско-

вороде кусок раскатанного теста, подвинула сковородку ближе к пламени и укоризненно покачала головой, словно сокрушаясь каким-то своим мыслям.

– Эх, Мына, Мына, – сказала она, все так же не обарачиваясь. – Маленьким ты никогда первым не съедал чурек, делился со своей матерью.

Мына даже перестал жевать от удивления.

– Откуда ты знаешь, что я здесь, мама?

– Я уже знала про тебя, когда ты еще только во двор вошел, – ответила Кодор, все так же продолжая хлопотать над очагом, пристраивая сковородку поудобнее, чтобы будущий чурек смотрел лицом на огонь.

– Мама, все хорошее у меня от тебя, наверное.

– Нет, от отца больше. Почему ты так долго у Акакана стоял?

– Он – мой первый друг.

– Умрет, наверное, твой друг скоро, – грустно заметила Кодор.

– Откуда знаешь?

– Думаю так, – пожала плечами женщина. – Жалко, хороший орех.

– Я от него новое дерево посажу. Вот, – Мына протянул матери гладенький, только что очищенный от черной кожицы грецкий орех.

Глядя на него, мать улыбнулась так светло, как улыбалась раньше протянутому Мыной кусочку чурека.

– Мама, я пришел кукурузу ломать, пора уже, наверное.

– Ночью что ли опять работать станешь?

– Нет, – покачал головой Мына, – утром разбуди меня пораньше.

Кодор снова улыбнулась, но на этот раз как-то грустно.

– Ничего, мама, – постарался успокоить ее Мына, – на моем поле тоже початки скоро созреют.

– Знаешь, Хумач, – первое, что сказал Мына после приветствия, увидев Мальчика на поле на следующий день, – сдастся мне, что если мы сейчас развяжем Вороне крыло и подбросим ее вверх, то она у нас уже не упадет.

– Думаешь, полетит? – осторожно спросил Мальчик, стараясь не обидеть Мыну сомнением.

– Полететь не полетит, может, но держаться в воздухе уже сможет, – с этими словами Мына разматал повязку на вороньем крыле. Оттопыренное это крыло с поредевшими выболевшими перьями вдруг выгнулось, потянулось в сторону, словно освободившись от долгой неудобной позы, избавляясь теперь от мленья и застоя. Серые взъерошенные перышки ровным полем легли одно на другое и блестящее гладкое полотно их прикрыло рану.

Мына погладил птицу, а она вдруг превратилась в перепуганный комочек перьев с живыми, всегда удивленными глазами.

«Уже? Лететь?»

«Нужно же когда-то пробовать», – стараясь легким мерным поглаживанием успокоить птицу.

«А вдруг...?»

«Что, боишься головокружения?»

«Нет, но вдруг я не смогу?»

«Это не беда, тогда будем пробовать завтра».

«А может, сразу начнем завтра?»

«Вот никогда не думал, что в тебе живут сомнения! Тебя же страшно в руках держать: того и гляди сердце выскочит наружу! Чего ты боишься?»

«Птенцом я точно знала, что когда-либо обязательно полечу, потому что все мои родичи летают, а вот сейчас этого ведь может – не случиться. Так что пускай мой полет “не случиться” лучше завтра или еще лучше послезавтра, или вообще никогда. Я буду ходить с забинтованным крылом и

всегда думать, что не летаю только пока, а с этим “пока” и умирать проще, чем с “никогда”».

Мальчику вдруг стало неизъяснимо жалко Ворону:

– Мына, может, мы ее и вправду завтра выпустим, пускай полечится еще денек?

– Завтра, Хумач, начинать нельзя.

– Почему?

– К завтрашнему дню ты, Хумач, ее так откормишь, что она уже никогда в небо не поднимется.

И все-таки Мальчику было очень жалко птицу.

– Ну! – выдохнул Мына с облегчением уже сделанного дела. – Ну, лети! – и подбросил Ворону вверх так неожиданно, что Мальчик даже ничего не успел сказать в ее защиту.

От страха и неожиданности птица, кажется, только сильнее прижала к бокам крылья, и вот таким мягким взъерошенным комком перьев катилась вверх, пока не кончился данный Мыной разгон. Обратно, теряя высоту, она уже скатывалась со своей воздушной горы еще более неуклюжим и растрепанным созданием, распластав в воздухе крылья, которые теперь только тормозили ее, не давая кувырнуться в воздухе в разные стороны.

– Давай не будем ее сегодня выпускать, Мына, – взмолился Хумач, но Мына, кажется, даже и не слушал его. Поймав птицу в ладони, он тут же подбросил ее вверх с еще большей силой.

Ворона и в этот раз покатилась в воздух безвольным серым мячиком, но оказавшись в точке, откуда снова должно было начаться ее обидное падение, вдруг расправила крылья. Не разбросала беспомощно и неуклюже, а именно расправила, сильно, широко и красиво.

– Ну, лети же, лети, – думал про себя Мальчик, глядя на зависшую в небе ворону. – Лети, пожалуйста, я прошу тебя. – Сердце Мальчика сжалось вдруг в комочек и маленькой трепещущей от волнения птичкой полетело к Вороне по-

просить ее не падать, поддержать раненное крыло, если оно начнет слабеть: «Ну же, ну!»

«Полетит или упадет? Вот Ворона недвижно висит в воздухе».

«Только не падай, пожалуйста!»

«Полетит или упадет?»

Но разве это уже не есть полет? Сильные серые крылья опираются на волны воздуха. Потоки ветра качают на своих плечах Ворону.

Летит! Она уже летит! И пускай это еще не перелет за гору, не дальнее путешествие за море, а лишь плавное приземление на плече Мыны. Но это уже не падение, – а полет!

Летит!

– Мына, а можно я ее тоже запущу в небо?

Ворона в руках Мальчика не дрожит, не сжимается от страха.

– Лети! – Птица, отчаянно взмахивая крыльями, поднимается вверх, а сердце Хумача – беспокойная пташка – замирает в груди.

Недожеванная травинка замерла во рту козочки, когда та, оторвав мордочку от пышного клеверного куста, подняла вверх голову посмотреть, как полетела ее пернатая подруга.

«Летишь?»

«Еще не знаю... Да, наверное...»

«Мне тоже почему-то радостно, хотя я сама летать не умею».

«За меня радостно? Спасибо тебе! Это, наверное, ты выздоравливаешь»,

«Да, сама чувствую, что мне лучше становится».

«Знаешь, коза, мне всегда хотелось сесть тебе на спину и пощипать этих противных блошек-мошек, что донимают тебя».

«Отчего же никогда не садилась?»

«Боялась, что упаду. Стану падать, а крыло прибинтовано, я и разобьюсь о землю».

«А теперь?»

«А теперь не боюсь! Ничего не боюсь!»

Еще раз взмахнув крыльями, Ворона поймала поток воздуха, который плавно принес ее и приземлил прямо на спину козы. Под конец, как бы доказывая самой себе возможность полета, она еще притормозила свободно расправленными крыльями.

Коза, едва приняв Ворону к себе на спину, сразу же присела на траву.

«Что ты?» – Ворона, суетливо цепляясь лапками за козью шерсть, быстро пробежала по спине козы, взобралась на голову и перегнувшись вниз, заглянула ей в глаза: «Что ты? Зачем садишься? Я теперь не упаду!»

«А вдруг!?»

Урезоненная доводом птица спокойно вернулась на исходную позицию. Перебирая козью шерсть волосок за волоском, Ворона дошла от хвоста козы до головы, потом развернулась и пошла в обратном направлении, уже вынимая блох откуда-то из боковых шерстяных зарослей животного и чуть ли не с самого брюха. Коза, блаженно прикрыв глаза, возлежала на солнце, но как только Ворона добралась до головы, она прикрыла веки и задергала ушами.

«Еще на ушах и на мордочке посмотри блох, пожалуйста».

Ворона боком-боком вскарабкалась, как перед стартом, и, подпрыгнув с легким взмахом крыла, пристроилась меж бело-розовых треугольников козьих ушей. Поклевав на голове блох, она добралась до мордочки и стала осторожно перебирать шерстинки вокруг преданных, неотрывно следящих за ней глаз.

– Мына, почему так? Коза ест на моих глазах траву, Ворона выклеывает блох, а мне ни травы, ни блох совсем не жалко. Это плохо, Мына! Жестоко!

– Нет, Хумач. Это естественно. Так должно быть. Ведь если бы никто не ел клевера и не клевал блошек, они бы так расплодились, что заняли бы полпланеты, и тогда за тучами мошек и блошек не видно было бы неба и птиц. Знаешь, Хумач, что такое природа? Это Великие весы, где миллионы чашечек, каждая из которых на своем месте, а все вместе они создают Великое Равновесие. На одной из таких чашек – козы, на другой – мошки, на третьей – Вороны, потом еще клевер, орех, девясил, человек – короче, все живое, что ты можешь видеть вокруг себя и у всех своя чашка. Опустоши одну такую чашек, и мир покачнется. Может, не разрушится, но покачнется. А знаешь ли ты сколько таких опустевших чаш расшатывают это Великое Равновесие?! Человек сметает с лица земли растения и животных, раскачивает эти весы и не хочет знать, что когда Великому Равновесию придет конец, сам он погибнет в мире, превращенном в пустыню от безводья, голода и стихийных бедствий, которые, как кара небесная, будут сыпаться на его голову за каждую загубленную травинку, за каждого раздавленного на дороге муравья.

– Мына, а какая сила самая большая на земле?

– Сила жизни, Хумач.

– А где ее можно почувствовать?

– Повсюду: трава ли пробивается сквозь камни, разрушая своим жидким мягким телом асфальт, дерево ли цепляется за скалу, впивается корнями в породу, выцарапывает для себя скудную пищу, жадно ловит влагу росы и каждую капельку дождя, форель и борется с горным потоком, хищный ли зверь бежит по следу зайца – все это сила жизни, это и здоровье человека, чем крепче оно, тем полнее ручейки и реки, что наполняют его стремлениями и желаниями. Жизнь – это девясиллов корень, на котором все остальные человеческие силы множатся и процветают...

«Жизнь – это девясиллов корень...»

– О чем ты задумался, Хумач?

Мальчик ничего не ответил. Он смотрел теперь, как старательно Ворона выколупывает блошек из шерсти козочки, как, разомлев на солнце, блаженствует под нежным щекотанием птичьего клюва коза.

– О чем ты думаешь, Хумач?

– Мына, почему-то я подумал, что мы с тобой сейчас такие лишние на этом поле.

– Тогда давай хоть на время оставим его козе и Вороне, а сами уйдем куда-нибудь.

Мальчик был согласен. Он хотел было спросить, куда они пойдут, но передумал. Идти с Мыной куда-нибудь было уже интересно.

Так они шли по полю. Один не говорил куда именно, потому что другой не спрашивал его об этом, а тот другой ничего не спрашивал потому, как ему даже сам поход был уже интересен.

Над головой вилась пара щебечущих пташек.

«Я свила новое гнездо! Я свила новое гнездо!» – суетилась одна.

«Поздно, лето уже кончается, скоро начнутся дожди,» – отвечала ей другая.

«Ничего, я успею вывести птенцов. Я должна сохранить эту кладку!»

«Поздно, тебе говорю. Твои птенцы не успеют научиться летать до зимы».

«Я стану кормить их большой зеленой саранчой и жирными гусеницами, и они будут быстро расти».

«А ты не боишься, что гнездо твое снова разорят?»

«Нет, я выбрала такое место, что никто не догадается искать там гнездо, там вокруг большое кукурузное поле и на нем столько насекомых, что без труда можно выкормить не одно потомство! «

«Никогда не бери насекомых с кукурузного поля. Там их губят смертоносной водой или пылью. От такой пищи птен-



цы слабеют и умирают. И вить гнездо в кукурузном поле – все равно, что откладывать яйца на глазах у ворон.»

«Нет же, нет. Я все продумала! Уже зреет кукуруза и сейчас травить гусениц люди не станут. Кукуруза уже сама отравлена, а гусеницы, что сейчас появляются на свет, здоровые и птенцам лучшей пищи не найти, а пока люди придут ломать кукурузу, мои птенчики вырастут и разлетятся в разные стороны. Я устраиваю гнездо в сухих ветвях срубленного дерева».

«Что ж, может оно так и будет, как ты задумала. Я слышала, как один старый орел рассказывал своему сыну – молодому слетышку про это место: “Когда я был молод, так же, как ты, – говорил он, – в ветвях этого дуба была настоящая школа, мой отец водил меня туда. Среди листвы можно было найти гнездо любой птицы, живущей в наших краях. Мы с отцом летали туда часто. Сначала по весне смотрели недостроенные гнезда, потом учились различать виды птиц по раскраске скорлупок яиц, а затем наблюдали, как растут птенцы, и нигде, как в ветвях этого дуба, они не набирали силу и не оперялись так быстро. Люди тогда вовсе не тревожили это место. Они приходили к дереву всего несколько раз в году. Приходили так тихо, что был слышен писк птенцов в ветвях и шорох листвы. Их приводил сюда старый человек, он пел одну красивую человеческую песню”, – так говорил старый орел. Он даже запомнил слова из той песни. Правда, он не знает смысла, в них есть что-то красивое и доброе, вот послушай: “Поле – принадлежит – всем – всем – всем!”»

«По-ле-при-надле-жит всем-всем-всем, – как заклинание повторила вторая птичка. – А я, кажется, догадываюсь, в чем смысл этой песни. Орел, быть может, неточно запомнил слова. Вот послушай конец песенки еще раз, как я тебе proponю: “Жить – всем – всем – всем! Жить – всем – всем – всем! Жить всем!”»

Теперь ты понимаешь, что это значит? Просто раньше на этом месте разрешалось жить всем птицам, разрешалось жить большому-большому дубу, а теперь, наверное, этот старик умер, и оборвалась его добрая прекрасная песнь “Жить всем!”, а люди срубили дерево и забрали поле себе.

Какую чудесную песнь они потеряли: “Жить всем!

Жить всем!

Жить всем!”» – зачирикала птица и улетела.

Жесткий кукурузный лист полоснул Мальчика по лицу, потом он споткнулся о какую-то кочку. Таинственное «куда-либо» Мыны оказалось их кукурузным полем.

– Мы уже пришли, Хумач.

– Мына, а ты знаешь, какой самый страшный сон?

– Знаю: когда во сне умирает мама или падает на тебя огромное дерево, от которого нельзя убежать.

– Да, когда оно падает, ты оказываешься единственным живым существом среди раздавленных птичьих яиц, облетевшей листвы и растерзанных птенцов.

– Это дерево уже давно упало, Хумач. Его срубили однажды по весне, когда тебя еще не было на свете, но оно падало, наверное, так же страшно, как и во сне.

Лес кукурузной чалы внезапно расступился перед Мальчиком, и нога его, уже занесенная для следующего шага, застыла вдруг в нерешительности. Перед Хумачем и Мыной во всем своем величии своего пускай даже поверженного, гигантского тела, лежал на земле могучий дуб в обрамлении зеленой травы, изумрудным живым пламенем бывшей изпод его неохватного ствола. От огромных, равных толщиной большому дереву боковых ветвей остались лишь жалкие обрубки, отчего великан казался колесованным, обзрученным и обезглавленным, и лишь жидкий пучек сухих обломанных веточек на почерневшей, поросшей мхом его вершине напоминал о былой пышности кроны. Вот среди этих веточек и пристроилось маленькое гнездышко, над ко-

торым хлопотала знакомая птаха, тихонечко щебеча «Жить всем! Жить всем! Жить всем!»

Только сейчас Мына и Мальчик заметили, что Ворона, оказывается, где ковыляя, где перепархивая, тоже следовала за ними. Теперь она взлетела на плечо Мыны и, передохнув мгновение, собравшись с силами, снова вспорхнула вверх и с неудержимой жаждой высоты, словно подталкиваемая все время кем-то в воздухе, опираясь на силу своих крыльев, она стала по-орлиному дерзко набирать высоту. Высвободившейся из-под долгого давления своей болезнью пружиной, она начала ввинчиваться в небо стремительно и неудержимо, пока в едва видимую, дрожащую и мерцающую в воздухе точку, дневную звездочку, готовую растаять в ладонях солнечного света. Быть может, она и исчезла бы в голубой выси, но козочка, все это время наблюдавшая, оказывается, за Вороной с земли, вдруг жалобно заблеяла.

– Ме-е-е-е, – тихонько позвала она свою подругу. – Ме-е...

Тихое это блеяние, видимо, нашло свой путь в небе, добралось до Вороны. Остановившись на мгновение в своем внезапном орлином порыве, она медленно стала спускаться на землю, туда, где в неистовом беспокойстве и радости ее возвращения, описывала на поле указательные круги коза. Сжимая площадь их по спирали до центральной точки, она таким образом отмечала место, на котором должна была приземлиться Ворона.

Место, на которое опустилась в траву Ворона, сразу же потерялось в волнах кукурузной чалы. Ветер бежал по полю, гнул макушки кукурузы, вздымал к небу руки листьев. У него, видно, не было своего пути, он просто гулял здесь в кукурузе беззаботно и бесцельно, отчего волны бежали в разных направлениях, и пока Ворона опускалась где-то там далеко на призыв козочки, мир казался похожим на карусель, на тихую лодку, которую ветер кружит и гоняет по

неподвижному, замершему полю, а там, за границей этого поля кружатся на такой же карусели Ворона и коза, отчего все смешалось и перепуталось, и первое, что приходит на ум – это не лодки и карусели, а обыкновенный ветер, который гуляет по полю.

– Знаешь, Хумач, здесь под стволом дуба сохранилось еще настоящее поле. Я тебя специально привел сюда, чтобы ты попробовал услышать его. Давай постоим рядом с ним.

Ветер пробежал по кукурузной чале.

СлуШ-Шают

СлуШ-Шают

СлуШ-Шают

– Заговорили листья и сразу же умолкли. Откуда-то с края поля донесся далекий отзвук колокольного звона:

«Бом-м!» – а потом еще: «Бом! Бом!»

«Боль! Боль!» – отозвалось поле, затем птичий гомон, шелест ветвей, шум запутавшегося в высокой траве ветра и дальний вой шакалов и, как сон, тихое заклинание «Поле принадлежит всем!» Потом снова погребальный звон: «Бом-м! Бом-м!», и стон поля: «Боль-ль... Боль...»

«Боль-ль!» – задрожал тихий голос, сорвавшийся с какой-то низкой, поющей густым грудным звуком струны.

Кукурузное поле зашумело, заволновалось, шапки листьев на макушках кукурузных стволиков раздвинулись, и из них, как из раскрытых ладоней, выплыли тугие, плотные бутоны роз. Раскрываясь на глазах, они разворачивали один за другим алые бархатные лепестки, высвобождали из глубинных своих сосудов пьянящий розовый аромат, который был теперь повсюду, пропитывал воздух, чудесное поле, волосы и одежду Мальчика. Розами пахла земля, сладким привкусом пропитанной розами росы наполнялся рот. Само поле походило на один огромный благоухающий розовый куст... Мальчик сжимал в руках стебелек сорванного на кусочке настоящего поля девясила, и тот тоже источал розо-

вый аромат, покалывал ладони острыми, раскаленными до жара невидимыми розовыми шипами.

«Боль-ль!» – пропело поле голосом, поднимающимся по лестнице струн.

«Боль!» – осыпались лепестки роз и вместо них поле распустилось ромашками. Толкая друг друга, теснились они, подворачивая белые лепестки, тянулись к солнцу выпуклыми оранжевыми серединами. Ромашковый воздух заползал в ноздри и, касаясь языка, сковывал его тягучей, вязущей смолой. Исчезли розовые шипы с девясилового стебелька, оставляя на ладонях горячий след.

«Боль!...» – уже пела следующая струна, и волны срывающегося с нее ветра оранжевым вихрем закружили ромашки. Вихрь этот летел по полю, под ним остывали разгоряченные ладони, оранжевый столб, раскрученный до тонкого шнура, поднимался к солнцу, колол раскаленный диск его, рассыпался на поле, желтая солнечная пелена слепила глаза. Яркая солнечная пыль кружилась в вихре, смотреть на нее широко раскрытыми глазами было невозможно. Прикрытые ресницы размывали очертания девясилового стебелька в руках. Девясил стал непохож сам на себя. Теперь он напоминал какое-то другое, очень знакомое Мальчику растение. «Что это?» – только успел спросить себя Хумач, как растение это выплеснуло на него мягкую теплую волну нежного мятного аромата. «Мята, – догадался Мальчик. – Так пахнет только перечная мята». Слова запутались завязли меж губ, и мятный привкус рассыпался во рту настоящим жгучим перцем.

«Боль!» – слетел с новой струны голос, желтый вихрь унесся, яркая солнечная пыль растаяла, как тает выпавший на теплую землю снег, убегающее эхо, прозрачный ломтик лимона во рту. Поле, словно и впрямь умытое той талой водой, стояло в своей первозданной зелени, а зеленые кукурузные крылья гнали потоки воздуха, приносящего откуда-то

издалека новый запах, на этот раз был еле уловимый аромат полевой герани.

Призрачный тот ломтик лимона растаял во рту и осталась лишь горечь нетающей, пережеванной лимонной кожурой.

«Боль! Боль! Боль!» – голос птицей вырывался в высь голубого неба. Небо теперь заполняло собой все вокруг.

Теперь на свете было только небо, Мальчик и еще где-то далеко невидимые кукурузные листья, которые продолжали гнать ветер. Лопасты их работали все быстрее и быстрее, и обильные, пахнущие геранью волны скоро пронеслись и растаяли, а новые, гонимые этими неутомимыми лопастями порывы ветра, теперь несли с собой прохладные, пахнущие полынью потоки.

«Боль!» – голос поднялся на ступеньку покоя. Небесная голубизна стусилась в синь, теперь ветер пах только холодом.

«Бон-н-н!» – пронзительно задрожал, готовый оборваться на самой высокой ноте, принесенный ветром холодный фиолетовый сумрак вечера.

– Накуа? – «Что она делает здесь?»

– Накуа, здравствуй. Ты тоже слушаешь поле? – Мына подходит к старой женщине.

– Накуа тоже слышит?

– И видит, и чувствует. Она вообще многое может, Хумач.

– Тебе Мына опять тесно в лесу? – Накуа тоже делает ему шаг навстречу.

– Нет, мне, как и тебе, просто иногда не хватает этого дуба.

«Странно, кажется, они говорят уже так давно, может быть, с самого утра, а, может быть, уже тысячу лет. Они говорят, а я случайно подошел и услышал краешком уха их разговор. Не то странно, что услышал, а то, что вместе с Мыной сюда пришли, а разговору уже, кажется, тысячу лет, издалека тянется нить его».

Хумач постарался прислушаться к их словам внимательно-нее и понять, в чем загадка.

«Слова, как река,  
Текут издалека,  
Реку ту на пути  
Вброд решил перейти».

– Ну что, Хумач, – это Накуа обращается уже к Мальчику, – нашел свой девясил?

«Сделал шаг,  
И река понесла за собой,  
Сам потоком стал я,  
Бесконечной рекой...»

– Нашел.

Теперь голос, поднимавшийся по лесенке звуков, побегал по ней вниз, сиреневая кисея неба задрожала и растаяла на глазах, открылось синее полотно неба. Ветер подул в обратном направлении и принес с собою сначала запах пыли, потом тонкий аромат герани, мяты, ромашки, розы. Желтая солнечная пыль на мгновение закружилась в вихре и тут же рассыпалась на поле оранжевыми серединками ромашек, и под угасающее сладкое дыхание роз, закрылся живой занавес прекрасного розового куста, цветы которого, свернувшись в бутоны, спрятались меж кукурузных листьев. Голос же, пробежав семь своих ступеней от дрожащей верхней до глубокого грудного звука нижней, стих. В руках Мальчика остался девясилевый стебелек.

– Нашел девясил.

Мына разворачивает лежащий на стволе дерева сверток Накуа. Синий старенький фартук ее полон трав.

– Из леса?

– Да, траву собирать ходила.  
– Расскажи-ка ты нам, что собрала, – просит Мына старушку.

Течет река этого разговора без начала и конца...

...Корни, листья, цветки, ягоды, что от какой болезни, как много знает Накуа! Как глубока река разговора!

– Девясил копит солнце и соки земли, человек – копит знания. Вот тебе, Хумач, еще одна Великая сила этой замечательной травы. Голоса зверей и птиц – голос Земли, руды – сердце Земли. Нефть, моря, реки – кровь ее. Нужно научиться слышать сквозь земную толщу голоса водопадов, чувствовать тепло нефтяных морей, взглядом резать толщу пород, по цвету и запаху растений определять руды под ними. Знания – богатства, которым нет земной цены. Различать травы по голосу, горные породы по теплу, родниковые воды по цвету и вкусу – вот знания, к которым должен стремиться человек.

Накуа молчит, она, наверное, все знает.

– Мына, ты хочешь, чтобы Мальчик вырос и как ты ушел в лес? – вопрос Накуа звучит укоризненно.

– Нет! Я не хочу этого, – отвечает ей Мына.

– Тогда зачем все это?

– Накуа, но ведь можно как ты...

– Что как я?

– Жить, как ты, среди людей. Все знать и никуда не уходить.

– Как я – это очень трудно. «Легче дуть всю жизнь на свой очаг и говорить, что его раздувает ветер, чем держать огонь взаперти. Он прожигает стены тюрьмы, а ты всю жизнь только и делаешь, что возводишь новые». – Огонь жжет душу, когда держишь его взаперти.

– Что же делать, Накуа? Ведь если выпустить пламя, оно может уничтожить все живое вокруг?

– Лучше вовсе не разводить его.



– А, быть может, разведа, попробовать обратить его в свет и солнце для других?

– Ты же пробовал, Мына. Не поэтому ли твой дом сегодня в лесу?

– Сегодня да.

Река слов текла своим руслом, и в какое – то ответвление ее ушли Накуа со своими травами, кукурузное поле, срубленный дуб. Мальчик и Мына снова шли по высокой нетронутой траве.

– А зачем Накуа приходила к дубу?

– Слышать поле. Она часто бывает там.

– И ты часто бываешь там? – догадался вдруг Мальчик, словно узрев истоки той реки.

– ... и я.

– А зачем тебе это нужно, Мына? Я чувствую, что почему-то это тебе необходимо, а вот почему, догадаться не могу.

– Понимаешь, Хумач, запах роз и мяты, когда вокруг только кукуруза, ромашковый вихрь – все это возможно видеть и чувствовать только там. Этому научиться в детстве очень легко, главное потом с возрастом не растерять науку.

В моем детстве, в детстве Накуа этот дуб был жив. Он отмечал собой место прекрасного поля, где с водопадом звуков, цветов и запахов, с водопадом всевозможных ощущений из человека уходило все дурное, тяжелое, грязное, что он успел накопить в себе. Люди время от времени приходили к дереву, приходили на это живое поле, чтобы под сенью дуба наполниться добром, чтобы очистить себя, промыть от всего, что тянет и утяжеляет душу. Дни такие они называли праздниками, поле и дуб – священными.

\* \* \*

Под шатровым куполом церкви из белого камня чирикали воробьи. Они шныряли в проемы разбитых витражей,

что зияли живописными дырами под самым куполом, рассаживались на резных украшениях колонны и, время от времени перелетая с одного места на другое, сообщали друг другу какие-то свои птичьи новости.

Прилетит один такой воробышка с улицы, нырнет в стайку копошащихся на вершине резной колонны суетных своих собратьев, начирикает, начирикает им там что-то, и те раз! и разлетятся по другим стайкам, сами начирикают там что-либо в свою очередь, и все вместе вдруг сорвутся с мест и упорхнут на улицу в проем разбитого витража. Вот и гадай, чего им тот воробей начирикал?!

В настоящей церкви воробьи, конечно же, под куполом не летают. Нельзя сказать, чтобы эта церковь была не настоящей, но в ней жили птицы, а по вечерам иногда показывали кино.

Для Мальчика она всегда была такой, какая она была сейчас: гулкой от пустоты, с разбитыми окнами и витражами и облупленными колоннами. Он всегда помнил ее такой. Когда церковь покидали птицы, чьи голоса имели чудесное свойство множиться и удесятьеряться, поднимаясь от основания к легкому светлому куполу, оставалась пустота. Это была не та пустота, когда ничего нет, это была особенная ощущаемая пустота. Проходя от притвора к алтарю, ты как будто не просто идешь, а плывешь по этой пустоте, соприкасаясь с ней ногами у самого пола, всем телом ощущая ее пронизывающую сырость. Огороженная от мира звуков, она живет за каменными стенами церкви, храня первозданную свою тишину и покой. Вокруг все шумит, грохочет, ездят машины, летают самолеты, а в церкви живет себе тишина и из шумного мира прорываются в ее покои только воробьи. Когда в село привозили кино, тишину изгоняли из ее убежища. Куда она тогда девалась, где пряталась, никто не знал, но то, что она не исчезала насовсем, было понятно, ведь иначе она не возвращалась бы в церковь снова и сно-

ва. «Хорошо, что никто не знает, где она прячется, – думал Мальчик. – Если бы узнали, прогнали бы оттуда. А потом все забыли бы, что на свете вообще есть тишина».

Однажды в другом селе, куда Мальчик ездил с Отцом прошлым летом, он увидел разрушенную каменную постройку над родником у дороги.

В серо-зеленой от времени и мха нише бил фонтан воды. Белые, голубоватые, розовые камешки устилали дно неглубокой, наполненной водой фонтана каменной чаши, откуда вытекал бесконечный поток прозрачной воды, тонкий хрустальной чистоты ручеек. Резная каменная надстройка как бы охраняла покой фонтана, защищала его воду от буйных ветров, пыли, жгучего летнего солнца, от шума и других потрясений, хранила воду чистой и прохладной. И была эта ниша над родником как раз такой, что воду из чаши можно было зачерпнуть только ладонями. Захочешь утолить жажду, приклонишь колени, приготовишь ладони, заглянешь в нишу, а там на специально вытесанном для него приступочке стоит старенький глиняный кувшинчик, и сами по себе потянутся к нему приготовленные для воды руки.

Мастер, резавший строгий красивый в своей сдержанности узор на сером камне, был, наверное, человеком добрым, рассудительным, мудрым.

В его творение время, дожди и ветра внесли свои штрихи: орнамент почти стерся и вблизи был похож на выступы и рельефы самого камня, часовенка отточилась, обломалась по краям, а по центру черным следом молнии проламывалась глубокая трещина. Мастера того в селе никто не помнил, но строгая любовь его к людям пережила его самого и память о нем, дошла к нам через века и будет жить до тех пор, пока сохраняются эта надстройка над родником, ниша и приступок для кувшина.

Ветер и дождь довершат свое дело: сотрется рисунок, потеряет очертание первоначальной формы само строение.

Люди, быть может, и вовсе забудут, что эта часовенка над родником – творение рук человеческих и станут думать, что сама природа навалила на источник этот огромный бесформенный камень. Великая же любовь неизвестного мастера к людям будет жить здесь у родника еще много лет, найдя свой приют в тихой сырой нише над фонтаном.

Путник остановится у камня. «Подожди, – прошепчет голос мастера сквозь века. – Подожди. Ты столько дней в пути. Ты идешь, забыв про еду и ночлег, идешь, наступая на боль в собственных растертых до боли ногах. Погоди. Подумай, туда ли идешь и нужно ли туда так торопиться?»

Не всякий человек через века голос любви расслышит, но мимо родника у дороги ни один не пройдет. Опустится человек к роднику, протянет руки к воде, да так и замрет в нерешительности: «Стоит ли пыль дорожную в роднике омыwać, когда такой кувшин сам в руки просится?»

«Нет, не стоит, – подтвердит мастер. – Вода к тебе с чистотой пришла, не с чьих ладоней неомытой, пускай такой и после тебя останется».

Ни тот, кто услышит голос мастера, ни тот, кто от рождения – глух, не станут воду ладонями черпать, возьмут кувшин в руки. Кувшин тот хрупкий, от одного прикосновения звенит. Нельзя таким кувшином суетно воду черпать: на дно чаши упадет или каменного края ниши коснется, так вдребезги и рассыпается. Куда бы ни спешил человек, как бы ни гнали его заботы, кувшин он в руки берет неспешно, воду из озерца черпает не торопясь, хрупкий холодный сосуд из ниши достает бережно, воду пьет как самое дорогое вино.

Тот, кто видел, как случайный путник жажду утоляет, всегда подтвердит это, а кто не видел, сам догадается. Кувшину, как и часовне над родником, никто лет не считал, но как ни хрупка глина, служит она людям уже не меньше камня, и ручка у кувшина ладонями до блеска отполирована.

Выпьет путник воды, поставит кувшинчик на его постамент, посидит, подумает еще немного и, бывали, говорят, случаи, поворачивал человек обратно.

Поспешил, видно, в дорогу!

Мальчик опустился на колени перед родником, хотел было прикоснуться губами к роднику, у него не ладони, вся голова в нишу прошла, да так и замер от удивления. Вокруг была прохладная сырая тишины и даже фонтан, живший там, тишины этой не нарушал. Хумач даже глаза закрыл. Фонтан бьет у самых губ, но Мальчик к нему даже и не прикасается; что за удовольствие пить воду по сравнению с великим наслаждением покоя и прохлады ниши.

– Хумач, что ты делаешь? – послышался голос Отца.

«Откуда он здесь? – подумал Мальчик. – Может, это фонтан говорит его голосом?»

Вокруг была глубокая тишина и сырая прохлада серого камня, из которого, кажется, выросло хрупкое тело глиняного кувшина с отшлифованной дочерна ручкой. Голос Отца, видно, сочился сквозь камень снаружи, но неожиданности в его звучании здесь не было... В этом царстве покоя вообще ничто не могло быть неожиданным, даже кувшин на постаменте казался естественным выростом.

– Хумач, зачем ты залез туда?

– Воды хотел попить, – смущенно проговорил Мальчик, нехотя вынимая голову из ниши.

– А я думал кувшин зубами доставал.

Пройти от входа к алтарю прямо было невозможно, все небольшое центральное пространство церкви было заставлено скамейками и разномастными стульями. Сегодня здесь будут показывать кино. Возвращаясь с поля, Мальчик увидел на заборе афишу «Природа Кавказа» и подзаголовок, раскрывающий основное содержание фильма: «О вымерших и существующих видах растений и животных», – написала чья-то рука, стараясь тем самым

сделать скромную рекламу картине с таким обыденным названием.

«О вымерших... – проговорил про себя Мальчик. – Значит, там должны показать дуб. Жалко, что Мына об этом не знает». Сам он решил во чтобы то ни стало увидеть ту картину, даже подумал, что хорошо бы было показать ее Вороне и козочке. С козой конечно, в церковь не пустят, а вот Ворону можно было спрятать и принести с собой. Он специально пришел раньше всех, когда еще над алтарем не развешивали белого полотна экрана. Спрятанная под рубашкой Ворона уже, кажется, успела обжиться там. Мальчик специально не стал доставать ее из-за пазухи, чтобы, пока в церкви никого не было, она смогла как можно лучше привыкнуть к своему новому положению. Расстегнув на рубашке одну пуговицу, он теперь расхаживал вдоль стен церкви, показывая Вороне ее внутреннее убранство: остатки облупившихся фресок, хорошо сохранившийся резной рисунок свода, разбитые витражи окон, обломки белокаменного пояса, на котором щебетали стайки воробьев. Именно эти воробьи поразили, видно, воронье воображение больше всего. Разглядев этих вездесущих птиц на обломках ими же засиженного карниза, Ворона попыталась было высвободиться из-под рубашки, работая лапами и крыльями. Когда она уже почти вылезла наружу, руки Мальчика в одно мгновение запихнули ее обратно. Тогда, не тратя больше сил на борьбу из-за каких-то воробьев, Ворона высунула из-за рубахи голову, и, вытянув шею, дабы быть как можно ближе к этим маленьким шумным птицам, прокричала единственное, чем могла высказать свое настроение во всех случаях жизни:

– Кар-р-р!

Звук этого громкого «Кар-р-р!», поднимаясь к куполу церкви, приобрел густую мощную окраску, удесят�ерился и завис на некоторое время под сводчатым потолком. Ворона хотела было сказать воробьям еще что-то, но первый

ее крик, уже сгустившийся до громовых тонов, так напугал саму птицу, что Ворона тут же спрятала голову за рубашку. Крик ее тем временем пробежал по карнизу, спугнул оттуда всполошившихся воробьев и, дождавшись под куполом собственного эха, быстро вылетел через разбитое окно.

Едва лишь растаяло это эхо вороньего крика, как в церковь стали заходить зрители.

Солнце, быстро опускаясь за горы, гасило освещение в зрительном зале. Сумерки сгустились до полумрака, и на стены откуда-то с пола поползла темнота, которую с минуты на минуту должен был прорезать белый луч кинопроектора. Сначала кинопроектор где-то тарахтел за стеной, выбрасывая на белый экран над алтарем яркое пятно света. Чтобы никто не заметил его Вороны, Мальчик сел в самом первом ряду и осторожно расстегнул пуговицу на рубашке, чтобы показать Вороне экран.

Вокруг было совсем темно и только над алтарем сменяли друг друга, проплывали картины живой природы, такие настоящие и красивые, что Мальчику тут же захотелось на самом деле побывать в этих замечательных местах. Вскоре он забыл, что темнота зрительного зала скрывает людей, что сам он находится в церкви, и все, что он видит перед собой, не больше, чем кино.

Сначала чудесная благоухающая цветами дорога вела его и притихшую за пазухой Ворону по полю. Поле это было таким родным и знакомым Мальчику, что, бродя меж трав, он все время ждал появления Мыны, и даже Ворона потопилась выбраться из своего укрытия к нему на колени. Рядом карабкалась на травинку его знакомая Божья коровка, муравей копошился над здоровенным мертвым земляным червяком, не в силах поднять самостоятельно удачную свою находку и от счастья забыв, видно, позвать на помощь товарищей. Муравей бегал вдоль вытянутого, почерневшего на солнце тела своей добычи, обнюхивая, осматривая ее,

перебегая ее вдоль и поперек, соображая, видно, нельзя ли ухватиться за червяка с какой-нибудь стороны поудобнее.

Крупный голубой венчик цветка, похожий на колпачок, раскачивался посреди недвижных в безветрии трав тихим непонятым маятником. Он словно клонился от собственной тяжести в разные стороны, а, быть может, только что распустившись из бутона и впервые посмотрев на окружающий его мир, не уставал сейчас удивляться его необыкновенному богатству. Так или иначе, но поле пребывало все в том же безветренном покое, а голубой башмачок неведомого цветка все раскачивался и раскачивался в разные стороны. Потом из этого цветка показалась мохнатая спинка здорового шмеля, присыпанного желтоватой цветочной пылью, за ней массивная голова и три пары цепких лапок. Шмель выполз из цветка и медленно, с тяжелым жужжанием полетел прочь, а цветок этот, помахав ему вслед некоторое время, остался стоять ничем не примечательный среди остальных своих собратьев и прочих трав.

Дальше Мальчик, с Вороной за пазухой, бежал уже за бабочкой – белым легкокрылым экскурсоводом, что, порхая с цветка на цветок, облетала поле, словно говоря: «За мной, теперь идите за мной. Смотрите, как удивительна и разнообразна жизнь обитателей нашего поля: желтоглазый лютик, фиалка – нежный хрупкий полевой цветок, беспокойный, трясущийся на ветру мятлик, пышноголовый клевер, девясил. Его-то вы, конечно, хорошо знаете: жить, чувствовать, самосовершенствоваться, копить знания...

«Жить, чувствовать, самосовершенствоваться, копить знания», – повторил про себя Мальчик, а бабочка уже звала его дальше: «Идите за мной. Дальше впереди еще много интересного. Вот мой земляной ковер, а это приставучая цепкая повилика, ничего сама не умеет, ни на ногах стоять, ни питаться. Все от других берет. Вот погребок, а это одуванчик, подорожник, полевая герань».



Потом бабочка поднялась высоко над головой Мальчика и в беспокойстве забила крыльями о воздух. Несколько раз она пыталась приблизиться к земле, но тот час же взлетела вверх, словно белые крылья ее обжигало пламя. Среди великого множества цветов и трав она искала и никак не находила единственный нужный ей и никак не могла приземлиться. Дальше перед Мальчиком переворачивались листки альбома, в котором чья-то рука любовно нарисовала листья, цветки, стебельки и корни каких-то неведомых растений. «Последний раз, – говорил голос с экрана, поясняя каждую картинку в альбоме, – экземпляр этого растения был встречен экспедицией ботаников десять лет назад. Восемь, пять, три, два года люди не видели этих цветов и трав, а были среди них и такие, что ученым и вовсе незнакомы и нарисованы в отдельном альбоме по описаниям людей. Были ли они на земле вообще? – сомневался голос с экрана. – Запомните все эти растения, и если кто-либо из вас встретит их в поле или на лесной опушке, ни в коем случае не уничтожайте их. Сообщите ученым о находке». Дальше в альбоме пошли чистые белые листы. Они мелькали перед глазами, а бабочка все кружилась над полем в поисках несуществующего цветка, а потом вдруг сама села на альбомный лист, да так и осталась на нем красивым, но мертвым рисунком, лист этот перевернулся и захлопнулся альбом – память о несуществующих уже на земле травах и цветах.

«Как много листов в этом страшном альбоме, – думал Мальчик. – Но еще больше листов чистых. В это кладбище живого уместится, пожалуй, все поле, и лес, и болото, и ни одна еще бедная бабочка не сможет найти себе места для приземления».

Потом Мальчик и Ворона гуляли по лесу. Лес был пуст и от того казался замершим в ожидании чего-то. О том, что в нем жили птицы и звери, напоминали теперь только норы, гнезда и дупла, обитатели которых исчезли. Лес как будто

онемел, затаился, а рисунки диковинных кошек, коз, еще каких-то грызунов и ящериц в новом альбоме, как фотографии умерших, напоминали о том, что в лесу кипела когда-то жизнь.

«Неужели? – спрашивал себя Хумач, – Неужели лес уже так пуст и безголос?»

«Нет, – отвечал ему голос кино. – Еще не так тих и опустошен наш лес, еще норы заселены лисами и кротами, еще белка сушит про запас грибы на ветвях деревьев и мелькает в траве гибкое тело ящерицы, и приходит лакомиться спелыми каштанами красавец кавказский медведь. Но как страшно будет нам бродить меж безмолвных деревьев, когда в лесу исчезнут звери и птицы!»

А лес был все так же тих. Вдруг среди кустов орешника показалось огромное неведомое Мальчику животное. Бурая густая шерсть покрывала тело великана, мощные ноги его оканчивались массивными копытами, сам он походил на одичавшего в лесу здорового быка.

«Адумбей», – сказал голос в кино.

– Адумбей, – тихо повторил Мальчик, обрадованный своему открытию нового незнакомого ранее живого существа. Адумбей был радостной надеждой, что этот тихий мертвый лес заговорит, наконец. – Адумбей, почему я никогда не слышал о тебе раньше?

Мальчик осторожно пробирался сквозь заросли орешника, чтобы погладить красивое животное, величественно стоящее в зарослях с гордо поднятой неподвижной головой.

«Адумбей, Адумбей, – повторял Мальчик как заклинание. – Интересно, знает ли о тебе Мына? Если знает, почему не рассказал о тебе, как о самом большом лесном чуде, о самой замечательной тайне? Адумбей, как хорошо, что я вижу тебя здесь, среди зарослей дикого ореха, а не на картинке этого страшного альбома! Как был бы пуст без тебя лес, Адумбей!»

Животное стояло на своем месте все также неподвижно, глядя куда-то вдаль, словно и не замечая Мальчика, приближающегося к нему и твердящего беспрерывно «Адумбей, Адумбей, Адумбей!» Он как будто боится забыть имя открытого только что животного, словно с именем навсегда перестанет существовать и сам прекрасный Адумбей.

Вот Хумачу уже кажется, что он гладит своего Адумбея по мягкой шерсти, но животное почему-то остается неподвижным. Почему?

Почему от него веет холодом? Почему бурая его шерсть старой ватой расплзается в ладонях?

«Адумбей, – говорит голос в кино, – теперь только старики могут похвастать, что видели это животное когда-то в наших краях. Они говорят “Адумбей”, а ученые называют его “Кавказский зубр”, но так или иначе животное это навсегда исчезло с лица земли. Экземпляр, который вы видите сейчас, – чучело последнего Кавказского зубра, убитого в 1905 году. Сегодня оно выставлено в краеведческом музее».

«Адумбей, – шептал Мальчик, глотая слезы, – Неужели ты мертв? Адумбей, куда ты все время смотришь, от чего не отрываешь пустых остекленевших глаз? Что видишь ты перед собой? Что видел в последние минуты своей жизни? Безжалостное лицо охотника, стреляющего в тебя, или белый лист альбома со своим изображением, а, быть может, вереницу новых животных и растений, чья история завершается сегодня на этих альбомных листах? Скажи хоть что-нибудь!»

«Многие виды змей стали сегодня редкостью в наших лесах, не каждому ученому посчастливится увидеть их в природе, почти исчезли косули, редко встретишь в лесах красное дерево, самшит и даже обыкновенный лесной орех».

Адумбей был мертв. Осознание этого было так потрясающе велико, что никакие другие призывы, контрасты и сравнения фильма не могли уже найти своего отзвука в из-

нывающим от обиды и страшной несправедливости душе Мальчика. Что представляет собой форель, например, маленькая скользкая рыбка? Что значит она по сравнению с могучим уничтоженным уже Адумбеем? «Ее почти не осталось в наших реках», – говорит голос кино. Зато огромные форелевые хозяйства поставляют ее десятками тонн. Вот вода в резервуарах на экране прямо кипит ею, и тонны можно перевести в штуки, и в верховьях рек, где вода все еще остается чистой, всегда может спрятаться хоть одна неуловимая и не вычеркнутая из числа живых рыбка, а Адумбей уже мертв. И даже если все люди соберутся вместе и захотят вдруг эту рыбку поймать, то последняя форель, самая маленькая, сможет забраться под камень и спастись. Неуловимой, неуязвимой останется для людей мелкая форелевая икра и юркие мальки, а этот последний Адумбей, он был такой большой, что ни лес, ни горы не спрятали его от людей, и больше ни один охотник, ни один пастух не встретит его в лесах!

Ах, если бы хоть один такой великан случайно заблудился в зарослях!

А вот и лань, она попила воду из речушки, прилегла отдохнуть у водопада, да там и умерла.

Вырублены леса, распаханы поля, уже негде сидеть птицам. Весна приходит к людям почти безголосой.

Зато серые вороны множатся и процветают, питаются отбросами на городских свалках. Отбросы отбросами, но ими птенцов не прокормишь, и чтобы поднялся в небо один вороний выводок, нужно скормить ему три утиных, а уж мелкой птахи, вроде птенцов мухоловки, малиновки и соловья и вовсе не сосчитать.

Кто говорил, что ворона – санитар?

Ворона – паразит! Нужно охранять от нее природу!

По экрану летит бесконечная стая ворон, которая и на небе-то не умещается, не то, что на экране. Последняя пти-

ца не услышит голоса летящей впереди. Так много ворон вместе Мальчик никогда еще не видел. Их сотни и еще одна птица, их тысячи и еще одна ворона, та одна, что кружится не там в кино, а в зале перед экраном.

– Кар! – зовет она стаю. – Кар! Летите сюда, и сама устремляется прямо в зал, почти касаясь голов зрителей своими крыльями.

– Кыш! Кыш отсюда!

– Откуда она взялась здесь?

А Вороне до этих выкриков и дела мало. Что ей машущие руками безоружные люди, когда там на экране заблудилась стая ее собратьев. Долетев до стены, где под самым куполом чернело разбитое окно, она повернула назад к экрану.

– Кар! – как отстает стая! Почему все время эти глупые птицы летят не туда? Почему они куда-то исчезают за кромкой экрана?

– Кар! Кар! Кар! – шумит стая, как будто даже не замечая подругу, пытающуюся спасти ее.

– Кар! – отчаянно кричит Ворона, делая еще одну попытку увести птиц к противоположной стене, где чернеет спасительный проем выбитого окна. «Сюда, – зовет Ворона. – За мной!», – мечется она в отчаянии по залу, стараясь вывести стаю соплеменников из каменного плена стен.

– Тучи ворон уже кружатся над нашими городами, – продолжает голос кино. – С каждым годом их становится все больше и больше, скоро они вытеснят в нашем небе всех остальных птиц.

А в эту единственную настоящую, кружащуюся по церкви Ворону уже полетели скомканные билеты, кепки, мелкая монета.

– Кар! – отчаянно кричит Ворона, уворачиваясь от мелкой шрапнели людского зла.

– Сюда! Сюда! – зовет Ворону Мальчик.

Еще не успела промелькнуть на экране последняя птица этой бесконечной вороньей стаи, а Мальчик под свист и выкрики взбудораженных необычным происшествием зрителей уже выходил из церкви, запихивая под рубаху свою перепуганную птицу.

\* \* \*

– Мына, а я смотрел кино.

– «Природа Кавказа. Прошлое и будущее».

– Ты тоже его видел?

– Я, Хумач, это кино каждый день вижу.

– Адумбей?

– Адумбея я тоже не застал, его до меня еще застрелили.

– Мына, ты хорошо сделал, что ушел от людей в лес. Людей, а не лесных обитателей, за жестокость нужно называть волками и дикими медведями.

– Нет, Хумач! Нет! – Мына в отчаянии даже отвернулся от Мальчика. – Нет, я же тебя совсем не этому учил все эти дни. Скажи, о чем мы говорили с тобой? Разве не о людях? Разве не о том, как неразумны и беспомощны они? Разве не о том, как губительны для них все их самые маленькие ошибки и просчеты? Разве не о том, как беззащитны они сами перед злом, которое творят?

– Да, Мына, об этом и еще о девясиле.

– Да, ведь девясил – это ни что иное, как девять добрых сил, живущих в человеке.

– Я помню: жить, чувствовать, самосовершенствоваться, копить знания.

– И еще любить. Быть может, это и есть самое главное: любить все живое и прежде всего людей, что бы они не совершили. Посуди сам, не презирают же детей только за то, что они что-то не успели узнать и понять в жизни. Дети учатся и постигают знания, сколько каждый из них хочет и

может, а мудрые их учителя готовы отдать им все богатства знаний. И лишь тот, в чьей душе жива эта любовь, способен в полную силу открыть в себе три великих качества: бороться, мыслить, творить.

– Ты огорчил меня, Хумач.

– Я больше не буду, Мына, но зачем люди убили Адумбей?

– Помнишь, я говорил тебе про весы? Так вот, на них уже столько опустевших чаш, что Великое равновесие уже готово навсегда исчезнуть, а Адумбей – лишь малая капля в цепи бесконечных несправедливостей. С этим злом нужно бороться. Истреблять зло во всех коварных его проявлениях: дурное слово, сказанное человеком, срубленное дерево, разрушенный муравейник – в этом нужно видеть свое назначение на земле. Но любая облегченная чаша весов – это малая трагедия по сравнению с великой бедой атомной войны, что живет в сознании людей и лишь одним своим призраком точит умы и сердца.

Ты обрешь всезнание, но не спеши все сразу отдавать людям, подумай прежде: «Не сделаю ли я несчастными ближних своих?» Разгадав природную тайну, они спешат прежде всего сотворить из нее зло, а уже потом ищут пользу. Они выкачивают из земли нефть – черную горячую кровь земли, перегоняют ее в бензин и заливают его в баки своих машин. Ты думаешь, им так уж необходимо столь несметное количество выхлопных труб? Нет же! Нет! Большинство из них выбрасывают вонючий газ в городских пробках.

Подумай, не в этом ли самая большая странность и самое обидное несоответствие разума и поступков? Люди жгут нефть, чтобы на машинах приехать на свою работу, где, собравшись все вместе, одни будут думать, как быстрее и больше выкачать нефть из земли, а другие ломать головы, как избавить человечество от болезней, что множатся на земле со скоростью прибывания выхлопного газа, или как спасти гибнущие в едком от удушливого

газа и ядовитых испарений воздухе творения мастеров прошлого.

Люди нашли уран, плутоний, радий и теперь выдумывают из них смерть, а на это уходят лучшие силы человека.

Я не говорю, что машины вовсе не нужны, нет, но они могут работать на другом топливе: на бесконечном солнечном свете, например, на воде и даже на апельсиновых корках, наконец. Да мало ли источников энергии на свете?! Только на поиск их не хватает человеческой мысли, не хватает времени. Нельзя одновременно торопить новую войну и заботиться о жизни, здоровье и чистоте окружающего мира. Это тоже несоответствие. Силы, что уходят на борьбу со злом войны – растраченные, потерянные силы, но они необходимы, чтобы победить зло войны.

Не торопись выдавать людям своих знаний. Любя их, помни: лучше вообще не порождать зла, чем затратив на него лучшие силы, сказать потом: «Я победил его!»

Вот мы и подошли с тобой, Хумач, к следующей ступеньке – это всеобъемлющая сила мысли. Мыслить – на крыльях мечтаний вырываться за пределы возможного, чтобы потом невозможное превратить в реальность. Я уже говорил тебе, что лучшие человеческие умы сейчас работают на войну, на создание новых видов оружия и смерти. Мыслью же своей человек обязан принести людям счастье. Мысль должна развивать мирные науки, опускаться на морское дно, подниматься на вершины гор, погружаться в тайны своей души и закрома всеобщих человеческих желаний. Искать и творить, творить и снова искать. Искать ключи от всех тайн и загадок живого. Докопаться до всего этого может лишь мысль, чистая, светлая, не отягощенная хламом войны, человеческая мысль.

– Мыслить и творить, – повторил Мальчик.

– Да, и творить, Хумач. Творить.



– Я знаю, что это значит. Творить – это сделать часовню над родником такой, чтобы твоя любовь пережила тебя и сквозь столетия согревала людей.

– Можно просто построить дом, мост, проложить дорогу, но сделать это красиво, с любовью, а можно оставить людям картину, скульптуру, музыку, книгу.

– Творчество, Хумач, – это путешествие в мир, открытый тебе и недоступный другим. Вынеси оттуда багаж впечатлений и передай его людям в привычных им образах. Такая созидательная сила дана не всем, но повторить путешествие творца в мир его ощущений может каждый, приоткрыв дверцу через его творение. Вслушайся в звуки музыки, и неведомая сила вырвет тебя из реального мира, в живом ее потоке растворится суета бытия, исчезнет зал, комната, пейзаж за окном, люди, слушающие эту музыку вместе с тобой.

Так же можно попробовать войти в картину, почувствовать, чем жил художник, создававший ее, – это просто. Попробуй написать как бы картину заново, найди точку, где творец сделал свой первый штрих, и разворачивай оттуда картину, выписывая сначала главные ее детали, а затем более мелкие. Потом пройди в глубь полотна и за самой дальней точкой тебе откроется невидимая перспектива, образы, не вошедшие в полотно, но жившие в мире художника, вдохновлявшие и питавшие его.

Где-то в зарослях травы паслась козочка, а Ворона, развлекаясь, перелетала от нее к Мальчику, а потом обратно ныряла в траву, чтобы снова начать выискивать блошек в густой белой шерсти козы. Коза и Ворона были где-то рядом, но стоило Вороне окунуться в поле, как Мальчик тут же терял из вида место ее приземления. Поднявшийся ветер размывал и без того зыбкий пейзаж поля, глаза цеплялись за гибкий стебелек какого-либо приметного растения, и взгляд уплывал вместе с ним по волнам ветра, и поле снова походило на карусель, вертящуюся в разных направлениях.

А коза и Ворона находились как будто за пределами этой карусели, они не подчинялась общему кружению и двигались в своем непредсказуемом направлении – козочка подчинялась своему внутреннему желанию съесть ту или иную увиденную ею на расстоянии траву, а Ворона всегда искала и находила ее, хотя взлетала и опускалась в траву в разных местах, независимо от кружения ветряной карусели трав.

Ворона в очередной раз поднялась с плеча Мальчика в небо, и он готов был уже проводить ее взглядом, проследить место ее приземления, где на дне травяного поля пасется козочка, но птица вдруг забила в воздухе крыльями и, беспокойно покружив в небе, стремительно бросилась на плечо Мыны, прокричав встревоженно «Кар!»

Она так суетилась, что едва не промахнулась, потому что Мына сам уже не стоял на месте, а, врезаясь телом в травяные волны, быстро бежал по полю.

«Волк!» – промелькнуло в голове Мальчика, а, быть может, это Мына прокричал ему, не оборачиваясь, убегая в траву и унося на плече Ворону.

«Волк!» – думал Мальчик, едва поспевая вслед за ним.

Все смешалось, перепуталось в голове: жалость, страх, желание помочь, уберечь от беды, Мына, Ворона на его плече, сам Мальчик, казалось, срослись, соединились в единый комок, в единое доброе стремление – спасение козочки.

«А Ворона-то что сделать может?!» – пронеслось в голове Хумача. Мына, перескочив через козу, помчался дальше, а Ворона, сорвавшаяся во время прыжка с его плеча, так и осталась висеть в воздухе, помахивая крыльями над неподвижной, перепуганной насмерть поднявшимся переполохом козой. Волк, этот невидимый еще пока хищник, представлялся ей, вероятно, пока не страшнее Вороны, а вот ворвавшийся в ее покой Мына своим прыжком действительно очень перепутал ее. Коза вскочила на ноги и, потряхивая от

испуга головой, теперь смотрела на беспокойно мечущуюся в небе Ворону.

Инстинкты, живущие в вольной птице, притупились или растворились вовсе в бесчисленных поколениях домашних животных, прирученных человеком, потомках диких лесных коз.

Нет, страх, наверное, не исчезает никогда. Голод, страх и жажда продолжения рода – это не исчезает ни в одном поколении. Еще вчерашние предки этой белой козы стадами ходили на альпийские луга и по чуткости соперничали со сторожевыми собаками, так неужели же в этом одиноком бедном их потомке предчувствие опасности исчезло навсегда? А, быть может, оно еще просто не успело проявиться?

Может, в этом сбалансированном по всем компонентам комбикорме, что давали ей от рождения, все-таки не хватало какого-то компонента, какой-то гранулы или порошка страха? Или, зафиксировавшись, раз и навсегда в образе больно бьющей по телу дубинки, страх на другие объекты уже не распространился?

Мальчик увидел волка, когда тот серым маятником ходил вдоль какой-то невидимой, но явно чувствуемой им линии, за которую он не мог или не смел переступить, словно прозрачная, но непробиваемая стена встала на его пути. Стена вознеслась от земли к небу, а волк, не умея перепрыгнуть ее, маячил теперь по полю, ища в ней брешь или край, прожигая преграду глазами, полными яростного огня. Трава была такой высокой, что только серая спина зверя плыла над полем, да изредка опаливал верхушки трав его желтый яростный взгляд. Поднимая голову, волк всегда безошибочно находил Мыну, мгновение смотрел на него, а потом снова начинал ходить вдоль своей запретной черты. Потом зверь вдруг оживился, словно бы нашел эту свою заветную брешь в преграде и даже сделал несколько шагов навстречу Мыне, стоящему от него теперь на расстоянии нескольких

прыжков, но потом остановился, повернул назад и медленно поплелся к лесу, не оборачиваясь на провожающий его взгляд Мыны.

– Она очень старая, эта волчица, Хумач. Видишь, от немощи и голода у нее лапы заплетаются. Такие волки не живут уже в стае. Весной она тоже уходила умирать. Старые волки всегда поступают так: уходят в чащу, чтобы в одиночестве завершить свой путь. Но по дороге она наткнулась на нору, в которой копошились еще подыхающие от голода волчата – сироты. Теплящиеся в них остатки жизни остановили путь к смерти этой старой волчице, она задержалась на земле на один год. Волчица ведь никогда не бросит на произвол судьбы волчат, даже если они чужие.

– Волки живут по законам людей?

– Они живут по законам природы, соблюдая в стае все заповеди добра и справедливости, даже те, что люди уже позабыли: не убей, не укради, не измени.

– Ты ей что-то сказал?

– Я сказал ей: «Нельзя».

– И все? И она не могла переступить запрет?

– Я ничего ей не запрещал. Я просто сказал «нельзя» на понятном ей языке, на языке ее сородичей, среди которых живут еще святые заповеди.

– ...И она ушла.., – промолвил, потрясенный каким-то своим открытием, Мальчик.

– Да, – покачал головой Мына, а потом вдруг спохватился: – А жаль. Жаль, что она ушла насовсем, она бы как никто другой могла понятно рассказать о девятой силе всего живого на земле. Ей есть, что поведать: она родила и воспитала столько волчат, что мне кажется, ее сила оставлять на земле продолжение своего рода просто не иссякаема, что она будет жить и после смерти этой старой волчицы.

– Да, жаль, – вздохнул Хумач.

– ...Но есть еще Акакан! – загадочно подмигнул Мальчику Мына.

– Кто это?

– Акакан, мой старый орех во дворе дома. Сегодня мы с тобой пойдем слушать его рассказ. Я приглашаю тебя.

Маленький Мальчик и взрослый мужчина, большой и сильный как само поле, шли обнявшись меж трав. Мына положил на плечо Хумача свою большую руку. Мальчик обнял за пояс своего друга, выше дотянуться он не мог, – так они и шли. Они были похожи на братьев-близнецов, на двух больших детей, умных, сильных, добрых. А как природа еще могла поведать людям о замечательной способности сохранить в душе детство? Разве что назвать взрослеющего человека Хумачем и наделить его добрыми детскими снами? Как она могла показать доброту и силу? Сравнить с полем и подтвердить, что нет меж ними разницы, что братья-близнецы эти кровь от крови этого, плоть от плоти земные.

Они шли сквозь разнотравье и голубоватую дымку вечера, большие и маленькие, маленькие и добрые, любящие и большие. Травы стелились им под ноги, белая козочка мелко семенила рядом, то отставая, то забегая вперед, Серая Ворона кружила над их головами, изредка позволяя себе отдых на их плечах. Солнце опускалось в ладони горного ущелья, пахло перестоявшей полынью, старая волчица из леса жаловалась бледному серпику луны на свою жизнь.

\* \* \*

Вкус горячего чурека совсем иной, совсем не похожий на вкус той лепешки, что Мына угощал его на поле. Холодный и горячий чурек были настолько непохожи друг на друга, как, например, горячий чурек и хачапури.

Собственно, горячий чурек и есть, наверное, чурек настоящий. До того, как его испекут, горячий дух костра,

теряет живое свое тепло, он превращается в холодную соевую лепешку, вкусную, поджаристую, розовую лепешку, но вовсе не похожую на настоящий чурек, как не похожа на него любая другая еда. В настоящем же чуреке, живущем несколько минут меж соевым тестом и той холодной вкусной лепешкой, в мягком горячем теле его хранится ни с чем несравнимый живой аромат. Он живет под розовой корочкой и в ноздреватом горячем мякише. Он живет только в тепле и отлетает вместе с теплом, как душа. Аромат этот, как никакой другой, сам обладает вкусом настоящего чурека. Иначе чем можно объяснить то, что вкус этот улетучивается вместе с запахом из остывающей еды?

Про чурек Мальчик все понял сразу; ведь он его ел теперь уже два раза, настоящий и ненастоящий, а вот в руках у старой Кодор была какая-то загадка. Она гладила Хумача по волосам ласково и нежно, и уставший, разморенный домашним уютом старый апацхи, засыпая под стволом Акакана, рассказ которого приготовился слушать, под запах остывающего в руках чурека, Мальчик думал, откуда у Кодор руки его матери?

Во сне Мальчик увидел себя охотником и дровосеком, увидел себя спящим под деревом. И этот удивительный сон во сне рассказал ему историю Акакана: – большой раскидистый Акакан, он был на самом деле такой, а там, во сне он был хрупким, стройным деревцем-подростком. И он, пробудившийся ото сна дровосек, видел там во сне зеленый прутик молодого Акакана, утопающий в море грецких орехов. Ноги дровосека по щиколотку проваливались в шуршащие высохшей оберткой плоды, а он все ходил и ходил под деревом, наслаждаясь обилием блестящих бежевой кожей орехов. Потом там во сне он рубил большое дерево.

- Ух! – врезался в ствол его топор.
- Ах! – повторяла акакановая роща.
- Ух!

– Ах!

– Эх! – плакал молодой Акакан.

Большое дерево было мертво, не издавало ни крика, ни стоны, только топор – главный плакальщик, целовал холодный его ствол.

– Ух! – и еще – Ух!

– Ай! – оплакивала мертвое дерево роща.

– Пойдем есть чурек, Хумач, – позвал кто-то. Мальчик обернулся и увидел Мыну. Сначала он увидел его там, во сне. Мына шел по ореховой роще, потом, пробудившись окончательно, Мальчик заметил его на том же месте, подходящим к Аакану.

– Ух!.. простонало дерево под ветром, и на землю упал с него последний орех. Все это время, пока Мальчик спал под Ааканом, по двору гулял ветер. Он сбил с дерева плоды и этот последний орех, шурша нежной, еще живой с оберткой, прикатился к ногам Мальчика.

В этот вечер Мына провожал Мальчика очень долго и довел его почти до калитки его дома. Провожал не мысленно, не лежа меж трав и путешествуя в звездном небе, а на самом деле вел его за руку по единственной в селе проложенной прямой улице одинаковых персиковых домов. Больше в селе ни таких домов, ни таких улиц не было. Раньше люди селились как хотели, в основном укрепляя и уплотняя свое родовое гнездо, а эта улица была в селе новой.

За забором дома Мигоны металась, надрывая цепь, собака.

– Не пойдем, – хотел сказать Хумач, когда нужно было перейти там дорогу, но Мына свернул на противоположную сторону как раз на раскрытую зубастую пасть собаки.

– Смотри, Хумач, какая собака! – заговорил вдруг Мына преувеличенно восторженно, и пес, наводящий своим лаем ужас на всю улицу, вмиг перестал рвать цепь, наострив уши, кажется, даже начал прислушиваться к разговору.

– Мигона одну собаку на другую меняет, – продолжал громко Мына, как бы не замечая притихшей собаки. – Но такой горластой у него еще не было. Правда, Хумач?

Мальчик утвердительно покачал головой. Вообще-то это была первая известная ему собака Мигоны, других он не знал, но вот в том, что злей этой не было, он ни минуты не сомневался. Бестолковой и горластей пса просто не могло быть!

Собака же, послушав про себя похвальную речь, примолкла окончательно и теперь провожала Мыну и Мальчика, гордо вышагивая вдоль забора и довольно поскуливая.

Только тогда Мальчик облегченно вздохнул и заметил вдруг, что шея его словно укоротилась под тяжестью сплюснутой страхом головы. Голова же сама вросла в плечи, которые в свою очередь приподнялись в напряжении, словно бы существовали теперь сами по себе, независимо от туловища и находились на изготовке к прыжку, стараясь в страхе сами защитить себя от собаки.

Мальчик расправил одеревеневшие плечи, вытащил из туловища свою шею и потом постарался припомнить, о чем же он думал на противоположной стороне улицы... Эта глупая самодовольная собака перебежала дорожку его мыслей. Мальчик попробовал вернуться назад и тут же в руку вернулось ощущение чего-то круглого и гладкого. Так было на той стороне улицы, пока он, испугавшись, не подумал: «Не пойдем».

«Не пойдем...» – и ощущение этого круглого и гладкого в руках исчезло...

«Орех! У меня в руках был орех, который Акакан дал мне на память, а я его выронил от страха».

Мальчик высвободил свою руку из руки Мыны и побуждал искать потерянный орех. Возвращаясь с находкой в руках, он думал уже о том, о чем думал бы на этой дороге, не перебежит ли его мыслей собака: «Как жалко, что эта замечатель-



ная трава всего лишь девясил, а не больше, не десятисил, или еще лучше не девяностосил!»

– Хумач! – перебил его мысли Мына, и тут же как бы сам продолжил их. – Девясил – всего лишь ключ к разгадке других тайн. На самом деле их не девять, не десять и даже не девяносто. Никто не знает даже точно числа открытий, которые можно сделать в природе. Этого числа и определить-то, наверное, нельзя. Сколько живых существ на земле, столько и тайн. Вот откуда, например, берет свое начало волчий род и почему волки разошлись когда-то на своей дороге с собаками и лисами... И у каждого дерева своя тайна, и у каждой придорожной травинки. Девять же ключей от девяти дверей, что приведут тебя в кладовую тайн. Только не думай, что, отперев их все, разом, ты обретишь всезнание.

Нет, просто ты войдешь в удивительный мир природы, войдешь, как часть ее, как равный среди равных. Можно, конечно, обойтись и без ключей, взорвать, например, запоры кладовой и, выхватив из-под обломков то, что уцелело от гибели, самому скорее уносить ноги от места трагедии. Потом посадить эту свою находку в клетку или лабораторную банку и наблюдать, как в неестественных тюремных условиях умирает это живое существо.

Войти же в природную кладовую необходимо тихо, незаметно, не раздавив ногой мельчайшей букашки, не приотпав травы, не нарушив равновесия Великих Весов Гармонии. И тогда тебе откроются дороги, по которым можно идти всю жизнь, бесконечно открывая одну за другой тайны мира. Двери в кладовую расположены в строгом порядке.

– Жить, – подхватил Мальчик.

– Да, копить физическую силу, охранять организм от засорения и износа, защищать от разрушений и преждевременной гибели.

– Любить.

– Любить людей, отдавать им душевные силы, знания, дарить им самого себя. Разве иначе есть смысл жить?

– Бороться...

– ...со злом на земле, с жестокостью и насилием над всем живым, любя людей, защищать их от самой большой беды – от войны.

– Чувствовать....

– ...себя частью природы, всего живого на земле. Чувствовать живое рядом: птицу в ветвях деревьев, мышку в ее норе, воду в толще земли. Находить нефть, металлы, газ на расстоянии, но любя людей, хранить от них тайные залежи урана и всего, что может принести им зло.

– Совершенствоваться.

– Совершенству нет предела. Человек бесконечен в своих возможностях.

– Копить знания...

– ...замечать и впитывать в себя все, с чем встречаешься ты на жизненном пути. Все одинаково ценно в жизненном опыте, все, что умеешь и знаешь, когда-нибудь пригодится.

– Мыслить.

– Думать днем и ночью, как сохранить мир от разрушений и войн, как предотвратить беды, очистить от копоти, ядов и радиации нашу планету.

– Творить...

– ...передать людям осязаемый образ твоей любви к ним.

– Давать потомство.

– Оставить после себя человека, который сможет пойти дальше тебя, потому что, получив от тебя багаж знаний, он начнет свой путь со ступеньки, на которой остановился ты, он начнет жить сначала.

\* \* \*

Мына постарался опередить утро на поле. Утро еще только начинало разбавлять своим светом густую ночную

тму, а он уже умывался на поле росой, собирая крупные прохладные капли с сизых от влаги листьев травы. Мына так поспешил в дорогу, что теперь у него даже осталась время, чтобы собрать в ладонь горошины капель и утолить жажду чистой утренней росой и успеть до восхода солнца дойти до леса.

Еще ничто не предвещало утра, но поблекли глаза звезд, и птицы начали робко пробовать голоса. Утро обязательно будет, еще не было на земле ночи, которую не сменил бы рассвет, у каждого дня есть свое начало, своя молодость.

Мына торопился встретить молодость этого дня в лесу, увидеть, как солнце будет литься меж ветвей нескончаемым золотым потоком, в световых столбах его закружатся капельки тумана и случайно сорвавшийся с ветки лист. Свет ударит в листву, и она задрожит от удара и легкого ветра и осыпит с себя росу. Забрезжит утро, и кукушка, вспорхнув с бука, полетит в рассвет, купаясь в молодых солнечных лучах. Ветка задрожит и, вспорхнув листвой, устремится вслед за кукушкой в небо, но, передумав, задержится в солнечной полосе и долго будет еще дрожать в чистом утреннем свете, словно удивляясь самой себе, как это она, такая ажурная, гибкая, хрупкая, нежная держала на себе всю ночь такую тяжелую серую суетливую кукушку. Как это она держала ее и не переломилась?!

Прожекторы солнца будут изгонять тем временем ночь уже из среднего лесного яруса, из зарослей колючки. Луч коснется ежевичной листвы, ветер пробежит по кустарнику, и он оживет, проснется и зашевелится вдруг невольно ветру. Раздвинутся ветки, и заспанный заяц выскочит в утро. Выскочит и прижмется к траве, где еще хоронится ночь. Заяц или зайчиха? Зайчиха. Кормила, наверное, зайчат в зарослях ежевики. Зайчиха – добрая мать, где зайчат увидит, там и накормит. Чужие ли, свои ли, маленькие или большие, какая разница? Одного ведь заячьего рода. Знает

мать, что ее дети тоже с голоду не пропадут, кто-нибудь и их приласкает.

А где же зайчиха? Вот так травую, сумерками, пробралась она по опушке леса куда-то в другие заросли, затем исчезла.

Промытые утром птичьи голоса разливались по лесу. Утро, пробив заслон листвы, уже выгоняло ночь из-под корней вековых деревьев, будило лис в норах, жуков, дремлющих в опавшей прошлогодней листве улиток.

Никакие голоса по лесу не разливались, просто Мына настроил себя услышать пение птиц. На самом деле лес в это утро был по-зимнему безмолвен и не просто безмолвен, а как-то по-особенному тих. Мына опередил утро в лесу, но особенной радости от этого он почему-то не испытывал. Это лесное молчание было томительно до неприятного.

«Может быть, это и есть то состояние, которое я не успел еще постичь за годы жизни в лесу и никогда не постиг бы, не будь этого вынужденного долгого отсутствия?»

Сколько же я не был в своей хижине? Неделю? Больше. Кажется, что я отстою от этого уже на целую вечность.

...Быть может, это свойство леса и есть раздвоение от завершения работы и неполноты, несовершенства сделанного?

...Вот ведь, нежданно, негаданно записался в учителя!

Почему же не кричала по ночам волчица?

Может, это неопределенное расплывчатое мое состояние тревоги и несвершенности и родилось из сознания того, что я плохой учитель, плохой творец и где-то подсознательно сам понимаю это? Нет, в сущности, какой я учитель? Я всего лишь каменотес, гранильщик, что ли. Попытался придать четкую форму тому, что уже было, что до меня создала природа...

Почему же не кричит по ночам волчица?

...А что я волнуюсь так? Ведь однажды я слышал ее голос...

...Оттого и волнуюсь, что кричала она лишь один раз, да не со стороны моей хижины, а откуда-то, чуть ли не из соседнего села.

– А почему она, собственно, не может кричать, откуда ей хочется?

– Тогда, что она ночью делала так далеко от места обычной своей ночевки? Я же приказал ей стеречь жилье.

– Она не цепная собака.

– А почему так ужасающе пусто в лесу?

– А ты что думал, все живое царство бросится тебе в ноги от радости твоего возвращения. Лес не мертв, он живет своей жизнью, а ты врываешься в него ни свет ни заря и требуешь встречи.

– Я думаю, почему не кричала ночью волчица?

– Почему ты связываешь это с молчанием леса?

Почему я спорю сейчас сам с собой, как сумасшедший. Один Я вижу, что за время, моего отсутствия все вокруг изменилось. Другой Я делаю вид, что все так и должно быть. И вместе Мы боимся, просто панически боимся, до дрожи в коленях, до помутнения сознания, боимся, что не готовы встретиться с этим новым, неведомым нам еще миром.

Но что может произойти с маленькой зеленой моей хижинкой, с буковой рощицей, приютившей ее?

– Почему не кричала волчица?

– Она убежала куда хотела. У нее есть свои желания, стремления, инстинкты, наконец.

– Она убежала, куда ей захотелось? Змеи расползлись во все стороны света только, чтобы не оставаться в этом лесу?

Я никогда не покидал свою хижину так надолго. Птицы тоже разлетелись отсюда, кто куда, но хижина – зеленая моя лаборатория, она-то уж наверняка на прежнем месте, и роща поднебесного бука тоже никуда не могла деться.

Так будет, когда я уйду насовсем. Птицы, змеи, звери устанут меня ждать у моего жилища и разбредутся каждый

своей дорогой. Высохнут и осыпятся пучки целебных трав, что я не возьму с собой из леса домой, белки доберутся до запасов сухих грибов, сойки растащат из корзин провяленную солнцем землянику, дожди пробьют полог моей хижины, и сама она – надежное жилище мое, стены которого столько лет сплетал я из живых рододендроновых кустов, соединяя и поправляя каждую веточку, это полное птичьих гнезд, больных зайцев и подстреленных белок, – живое жилище мое, потеряет форму, расплетется и рассыпется.

Так будет. Но мне не жалко, ничего не жалко оставлять здесь. Решив уйти отсюда, я уйду сам с собой, поскольку ничего мне здесь не принадлежит. Все, что имею я сейчас, я брал в долг, во временное пользование за высокую плату понимания и проникновения, но еще не настал срок прощаться.

«Почему же не кричала волчица?»

Мыне показалось почему-то, что мир, в котором он существовал, вплоть до сегодняшнего дня, лес, в котором он прожил столько лет, отторг его от себя, отделился, отодвинулся и не хочет принимать его обратно, словно обидевшись на его внезапный уход и долгое отсутствие. От этой мысли Мына вдруг почувствовал себя беспомощным малышом, которого в порыве любви и радости за одно его существование, подбросили крепкими надежными руками в небо и решили больше не ловить, увидев к тому же, что подброшенный, он не падает вниз, а зависнув в воздухе, как будто даже вниз и не стремится.

А он-то вниз стремится, понимает, что не нужен он никому там внизу, что достигни он заветной земли, некому его там будет поймать, понимает, что разобьется, а все равно стремится.

Рассвет, который догнал Мыну в лесу почти на самом подступе к его хижине, высветил из плотного серого тумана ряды колючей проволоки. Значит, мир его и на самом деле был отгорожен, отделен от него.

Колючая проволока рассекала туман, из густой пред-  
рассветной мути вырастали белесые монолиты столбов. Это  
была какая-то запретная зона, в которой тонули все лесные  
звуки и голоса. Размытые, затертые пастелью рассвета вы-  
плывали рассеченные проволокой стволы деревьев. Ста-  
рый замшелый дуб прятался, избегал четких графических  
очертаний в пелене, капельной сетке тумана. Расплывчатых  
форм сизый ствол его тонул в этой вязкой неясности утра,  
ветви, вырвавшись из колючего заграждения, тянулись к  
самому лицу Мыны, по мере своего приближения станови-  
лись зеленее и яснее, но оставались по – прежнему молча-  
ливы. Ветер перебирал листвою, и она дрожала испуганно  
и нервно сквозь кисею тумана, дрожала беззвучно, словно  
самим уже своим молчанием листья умоляли друг друга:  
«Тише, тише! Ради всего святого, тише! Здесь нельзя ни зву-  
ка, ни голоса, ни стонов...»

Напряженная дрожь колотила тело Мыны.

«Лучше упасть.

Пусть будет как будет.

Лучше упасть, чем в страхе все время ждать, что вот-вот  
упадешь. Упасть один раз навсегда».

Собрав, скомкав в себе эту дрожь, Мына метнул этот  
сгусток гнева и усталости на проволоку, колючей струной  
натянутую перед самыми его глазами, и проволока, содро-  
гнувшись от удара, рассыпала горячую гроздь искр и, слов-  
но сама раскалившись о них, повисла двумя оплавленными  
концами. Обрамленный остывающими обрывками перед  
Мыной открылся проход в незнакомый, таинственный и  
такой родной лес. Как слепой пробирался он сквозь туман,  
нащупывая путь вытянутой вперед рукой и, словно, блуж-  
дая по какому-то замкнутому кругу, все время натывался на  
колючую проволоку.

Проволока действительно была, но еще был страх, уто-  
мительный гнетущий страх, обрушившийся на него невесть

откуда. Впереди громоздились бесконечные поля проволоки, перепутанный колючками тающий туман. Мысленно он рвал и резал такой нелепый ненавистный ему сплав тумана и проволоки и не уставая шел вперед и вперед к своей хижине.

Что будет потом? Что ждет его в его жилище, он не знал, он просто решил во что бы то ни стало дойти до него.

От напряжения, налитые кровью глаза раскалились до боли и рези, до стога, который нельзя, невозможно было выпустить из себя. Так бывает, когда белки разбухают и вываливаются из орбит, когда хочется беспрерывно нажимать на прикрытые в изнеможении веки и давить, давить, давить выпирающие наружу глазные яблоки.

В первом утреннем тумане плавали тающие клочки тумана и блестящие на солнце колючки новой проволоки. Сознание блуждало в этом мареве, беспрерывно натываясь то на туман, то на металл. От этих столкновений беспорядочно рассыпались в голове искры боли, плавающие мозг. Но эти искры были, пожалуй, единственное, что держало еще сознание, не давало спрятаться и потонуть в страхе, не давало закрыться глазам, не желавшим уже больше смотреть на этот перепутанный, нелепый, перевернутый мир. Эта спасительная двойственность существования в полуобмороке и пугающей своей ненужной новизной утром продолжалось недолго.

Оплавились концы очередного проволочного заслона. Мына шагнул в этот разрыв, и за ним уже сомкнулась жидкая стена тумана, ставшая из серой серо-грязной.

За Мыной в образовавшийся прорыв ветер вносил обрывки тумана, и он, складываясь в серо-грязные тучи, которые бесформенными своими концами цеплялись за кустарник и ветки деревьев. До хижины оставалось теперь совсем немного, и Мына двигался к ней теперь уже почти по инерции, подчиняясь какому-то мощному водовороту



энергии, который затягивал его в гигантскую воронку, что жила теперь, кажется, на месте его хижины.

Эпицентр его был где-то там, за туманом, спрятанный в толщу земли, а поток бешеной разъяренной энергии вырывался из-под земли, расползался во все стороны, обволакивая собой лес и проникая во все живое.

«Нет, не может быть, – говорил Мына, отказываясь доверять самому себе. – Не должно быть!» А мысль его тем временем проникала глубоко в землю, пробираясь по лестнице своих ощущений в узкую темную шахту, что зияла теперь на месте его рододендроновой хижины, стараясь добраться до источника этой смертоносной силы.

«Стой! – красной ракетой взорвалась в сознании мысль. – Стой! Ты не должен туда идти!»

Мгновенная эта вспышка осветила мозг страшной догадкой, заставила остановиться, подчиниться здравому смыслу, но это длилось лишь мгновение. Когда свет догадки погас, Мына снова побежал.

– Стой! Тебе нечего там делать теперь! Ты чужой, совсем чужой теперь в этом лесу! Что ты там хочешь познать? То, что гонит тебя вперед, уж давно открыто людьми против людей, оно ужасно. Стой! Вернись назад, пока еще не поздно!

– Стой! Назад!

«Нет!»

– Стой! Буду стрелять!

За спиной уже храпела в беге собака, мощными прыжками быстро сокращающая расстояние до Мыны.

Бег собаки, крики «Стой!» за спиной – все это было на самом деле. Это был уже спор не с самим собой. Собака, окрики – все это навалилось на него из реального окружающего мира.

Это была мука, отрезвившая вдруг его и заставившая почувствовать себя маленьким и беспомощным, причем маленьким до какой-то унижительной ничтожности. Ни

травинкой, ни муравьем, ни букашкой, а отвратительным, не способным ни на какие защитные действия, ни на какие сопротивления несущемуся на него большому злу, жалким обломком чего-то огромного, живого, но такого же беспомощного. Почему же живого и беспомощного? Скорее неживого уже.

«Неживое» – вот оказывается, что было главным. Он крохотное беззащитное существо, которое уже ощущает себя неживым, хотя еще способен осознать, что его несет к черному провалу шахты на место, где раньше стояла его хижина – жалкое укрытие от природных ненастий.

Мыне вдруг захотелось вернуть все назад: оживить рыжего криволапного щенка из своего детства, протянуть матери кусочек свежее испеченного чурека, поспать под Акаканом в жаркий летний полдень, но еще больше захотелось спать им же самим расплавленные концы проволоки, выйти из окружения тумана и металла, стереть свой след в этом лесу и бежать отсюда куда-нибудь подальше, где никто не посмеет сломать его хижину, никто не станет хоронить в земле бурю, готовую разметать мир на куски.

«Не смей! – почти умолял он настигающую его собаку. – Не смей! Я сам уйду отсюда. Я уйду и больше никогда не войду в этот лес».

Собака не слышала или не хотела слышать его. Мына обернулся. Два огромных, пылающих необъяснимой для Мыны ненавистью собачьих глаза настигали его, неслись навстречу, прожигая туман упрямым желанием настичь и наброситься на человека. Сама собака как бы растворилась в беге: не было ни тела, ни шерсти, ни лап, ни морды. Были только глаза и каркас-образ приказа «Взять! Схватить! Враг! Взять! Схватить! Враг!...» и так до бесконечности. Как стена, как крепость, о камни и бастионы которой разбивается человеческий голос «Не смей! Нельзя!»

«Взять! Схватить! Враг!»

«Остановись! Я сам уйду отсюда».

«Взять! Схватить! Враг!»

В последнем прыжке образ, движущийся каркас приказа со звериными глазами снова приобрел видимый собачий облик. Тело, разжавшееся живой яростной пружиной, выплеснуло всю силу ненависти через пасть. Образ приказа переселился теперь в эту пасть и челюсти сжимали врага без разделения на одежду и живое тело.

Приказ обрел свое видимое воплощение:

«Взял! Схватил! Враг! Настиг! С одеждой, телом, кровью! Большой, мягкий, беспомощный, как тряпичная кукла, которую можно трепать зубами и валять по земле. Кукла с кровью и мясом, которая не сопротивляется».

\* \* \*

Слухи множились, расползаясь по селу: «Мына, Мына, Мына, Мына». Никогда еще так много не говорили о нем.

Мальчик жадно ловил каждый звук, каждый голос, если он только произносил имя его друга. После того, как Мына несколько дней не приходил на поле, Хумач, кажется, научился различать в порывах ветра отдельные голоса, говоривших на дальней окраине людей, если только разговор их касался Мыны. Вот уже несколько дней Мальчик мечется, как на перекрестке, в информации, отыскивая в ней правду.

«Мына не пришел, потому что... потому что не мог прийти», – успокаивал он себя, а люди говорили разное.

– Сумасшедший. Только сумасшедший может поступить так...

– Никакой он не сумасшедший. Он шпион. Они всегда умалишенными прикидываются.

– Надо же, сколько скрывался!

– Удобного момента, видно, ждал.

– Да... Вот и Мына, травки-букашки...

– Зачем он туда полез? Видел же, что запрещенная зона. Нет же, напролом шел.

– Как это он с собакой договориться не смог? Он же у нас был всяким языкам обучен: козьему, коровьему, вороньему. Что ж это он с псом-то так оплошал?!

– Злой у тебя язык. Мына – святой человек. Он мухи за всю жизнь не обидел. Жил как кизилковый кустик, невзрачен, неприметен, а всех одаривал чем мог.

– Чем это он тебя одарил?

– А не ты ли сам его по лесу искал, когда ребенок твой умирал и никто, даже Накуа, не могла помочь ему? И не Мына ли вылечил его тогда?

Хумач изо дня в день продолжал ходить на поле и терпеливо ждать Мыну. Козочке эти походы были на пользу, а вот Ворона. С Вороной творилось что-то непонятное. Они с Мыной хотели ее уже запускать в стаю, но однажды утром Мальчик, как обычно, подбросил ее вверх, чтобы та размяла, вроде бы уже совсем зажившие крылья, а птица не полетела. Беспомощно побарахтавшись в воздухе, она упала в подставленные ладони Хумача.

– Ты что? – испуганно спросил ее Мальчик. – Ты же летала вчера.

В ответ Ворона только втянула голову в воротник перьев, и обычно удивленные глаза ее посмотрели как-то испуганно и виновато.

– Давай же! – все никак не мог понять Мальчик, что же случилось с птицей. – Давай еще раз попробуем. Вот вернется Мына, мы вместе запустим тебя в стаю.

С этими словами Мальчик расправил руками вороны крылья и уже размахнулся, готовый снова подбросить Ворону в небо, но птица забилась вдруг в руках, по – гусяному вытянула шею и закричала так жалобно и пронзительно, как только могло выразить ее обычное короткое «Кар».

Мальчик прижал ее к груди и стал ласковыми движениями ладони гладить взъерошенные ее перья.

– Ничего. Ничего. Не нужно кричать. Я не стану тебя больше подбрасывать в небо. Когда захочешь, тогда и полетишь. Что с тобой? Чем я могу тебе помочь? – А птица сжалась в ответ в маленький испуганный комочек и даже болезненно закрыла глаза, спрятавши себя таким образом от пугающей высоты неба.

Потом несколько дней Мальчик еще носил Ворону на поле, посадив ее под рубашку, но однажды, расстегнув пуговицу, чтобы достать ее из-за пазухи, он увидел, как в руки ему вывалилось жалкое беспомощное серое существо с потускневшими взъерошенными перьями и мутными полуприкрытыми глазами. Хумач решил оставлять ее дома. С того дня птица снова поселилась в его комнате, привязанная на всякий случай за лапу к ножке кровати, потому что Мальчик, не теряя надежды, продолжал ходить на поле. Это веревочная мера предосторожности была излишней. Ворона с утра до вечера сидела в углу, нахохлившись, словно бы от холода. Голова на истончившейся шее казалась большой и тяжелой, и все время клонилась в разные стороны. Передвигалась она редко и как-то странно короткими перебежками, почти волоча по полу брюхо... Хумач не видел, чтобы она что-то ела; насыпанное в блюдце кукурузное зерно оставалось почти нетронутым, а молоко закисло, и Мальчик изо дня в день заменял его свежим, терпеливо ожидая, когда птица начнет поправляться и есть. Потом Мальчик подумал, что, может быть, веревка тяготит птицу, и отвязал ее, но Ворона так и осталась неподвижной в своем углу.

Слухи, носившие вести по селу, про Мыну ничего толкового рассказать не могли. Хумач не верил им.

«Он не приходит» потому что... потому что не может пока прийти», – был один ответ на вопрос, время от времени неизменно встававший перед Мальчиком: «Где Мына? По-

чему он не приходит на поле?» Постепенно простое ожидание переросло в тревогу, но Хумач как будто внутренне был готов к ней и даже знал, что делать. Оставалась последняя и единственная возможность внести ясность в отсутствие Мыны: попробовать искать его самому, попробовать пойти по следу. Он думал об этом давно, но терпеливо продолжал ждать друга в бездействии, хорошо осознавая, что если оборвется вдруг нить его поиска, то надежду на возвращение Мыны уже нечем будет питать, она станет жить тогда просто сама по себе, постепенно слабея, а ведь он и теперь уже время от времени задавал себе вопрос: «Жив ли Мына?» Ответа на него не было. Люди говорили разное, но даже слухи не брали на себя смелость сказать определенно. «Да. Он жив» или «Нет, он умер».

Устав ждать, в одно утро Хумач пошел по следу Мыны.

«Был. Он был здесь», – говорили травы на поле.

«С моих листьев он собрал росу», – сказал лист клевера.

«Он был и ушел».

Мына ушел в лес, куда Мальчику от рождения было запрещено ходить одному. Мына ушел в тот лес, о котором предупреждал еще раз вчера Отец за ужином:

– Если узнаю, что ты хоть близко к нему подошел, – строго сказал Отец Хумачу. – Привяжу за ногу, и будешь как твоя ворона целыми днями в комнате сидеть.

«Значит, Мына там, – думал Мальчик, стоя посреди поля, – И, быть может, ему сейчас нужна помощь».

Божья коровка, пятнышками спинка... села на руку Мальчику.

Села, посидела, а потом подняла нежные крылышки, распустила желтые подкрылышки – сейчас улетит.

Конечно, лучше улететь. Проще улететь, не слушать вопросов Хумача... Но тогда он пойдет в лес и спросит деревья, что видели Мыну в то утро, спросит травы.

«Нет в лесу Мыны. Не ходи в лес, Хумач».

«Ведь это правда?! Нет в лесу Мыны?»

Теперь надежда жила уже отдельно от сознания того, что он никогда больше с Мыной не встретится.

\* \* \*

Как не хочется ничего делать! Как мучительно необъяснимое желание предаться безделью, лечь на кровать, укрыться одеялом с головой, или под кровать, где забившись в угол, прячется от дневного света Ворона. Зарыться с головой в темноту и ничего не видеть, и не слышать, как жалобно блеет под окном комнаты коза. Конечно, трава во дворе не то, что на поле. Но все! На поле он больше не пойдет. Что там делать, если Мына никогда не придет уже туда?

Не видеть бы никогда, как Мать замешивает тесто на хачапури! В конце концов она обязательно крикнет ему: «Хумач, пойдем ачафь кушать!» Ей тогда придется отвечать. «Не хочу ачафь», – поднимет от подушки голову Мальчик.

– Испеки мне лучше чурек, – но про чурек услышит только его подушка.

«Не хочу!»

Вот скрипнула калитка. Это та, что соединяет их двор и двор соседа дяди Бахуда. Сейчас его жена тетя Амра, как всегда, переделав все дела, придет к Маме разговаривать свои разговоры. Раньше эти разговоры хоть разные были, а теперь через слово про Мыну вспоминают. Говорят ерунду всякую, даже слушать противно!

Нет, не пойду ей навстречу! Пускай спрашивает у Мамы: «Где ваш Мальчик? Почему Хумача давно не видно? Не заболел ли наш Хумач?»

Я буду лежать здесь целый вечер и даже ужинать не пойду. Мама будет звать меня – не отзовусь. Она тогда заволнуется: «Не заболел ли ты и вправду, Хумач?»

«Нет, – скажу, – не заболел».

И так будет каждый день. Потом ей надоест меня спрашивать, и она перестанет даже приходить ко мне в комнату. И все забудут тогда про меня. И я буду лежать здесь целый год, один, зарывшись в подушку, пока не умру.

Нет, я не умру. Мне нельзя умирать, я ведь жду Мыну. Я буду лежать здесь, пока Мына не придет и не тронет меня за плечо.

– Вставай, Хумач!

«Уже, что ли, год прошел?»

– Вставай быстрее. Гости у нас во дворе. Всадники у ворот спрашивали, как найти двор Лада. Теперь они наши гости, мы должны принять их как следует.

Мама трясет его за плечо.

– Гости? – как это он сам не услышал, когда они въезжали в ворота?! Надо же, всадников пропустил! Вот стыдно! Хорошо, что Мама всегда гостей ждет! Мама-то гостей ни за что не пропустит. Даже когда спит, наверное, слышит, как люди к дому приближаются.

Во дворе Отец уже ведет переговоры с всадниками. Они, конечно, хотят уехать, побыстрее к Ладу попасть, а мы вот посмотрим, удастся ли трем мужчинам уговорить сейчас моего Отца, чтобы он их отпустил? Еще пока никому не удавалось. Хоть целый двор людей наедет, хоть днем, хоть ночью, все равно застолья им не миновать. Вот и эти гости спешиваются. Значит, будет сегодня большой стол, пир до самого утра!

Приезжие долго умывались у колодца, и освобожденные от слоя пыли, лица их посветлели и помолодели даже.

«Такой воды, как в нашем колодце, ни у кого в селе нет. И усталость снимет, и силы придаст», – с гордостью думает Мальчик.

Мама поливает гостям на руки, а у самого старшего из всадников вода в ладонях ну никак не держится, льется и



прямо на сапоги. Голенища сапог, серые от пыли, а мыски отмылись, черные, аж блестят.

– Что такое? – шутливо удивляется гость. – Что за вода в вашем колодце?! И душу напоила, и лицо отмыла, и сапоги блестеть заставила?! Вот, как новые горят! Я через весь свой край проехал, сапоги запыхлил. У Ингури думаю: дай сапоги помою, не въезжать же в чужой дом с грязными ногами? Мыл – мыл, не отмыл. Так и поехал дальше. Потом в Алыдзге коня напоить решил. Завел его в воду, а сам опять давай сапоги чистить, а пыль крепка, ну никак не отстает! Я так увлекся, что и про лошадь забыл, она от воды вдвое толще стала, а сапоги как были серыми, так и остались. Воды Мыку пыль не унесли, по Акуаратбаа специально вброд шел, и ничего! В Макаре коня купал, а с вашего колодца капля воды попала и пыли той дорожной как не бывало!

Гости смеются. Отец смеется. Маме смешно, только она улыбку прячет. Ей при чужих людях нельзя. Потом тетя Амра, помогавшая Маме стол накрывать, послала Мальчика к себе домой за подливой. Она делала ее особенно вкусно, и никто из соседей не отказывался, когда тетя Амра предлагала свою подливу на большой стол.

Дочка тети Амры Гунда, медлительная неповоротливая девчонка, так долго искала банку с соусом в чулане и так бесконечно долго заправляла подливу зеленью, аджикой и томатом, что Мальчику показалось, что он пропустил уже весь большой стол и самые интересные рассказы гостей.

– Гунда, можешь ты делать все немножко быстрее? Кому там ночью твоя подлива нужна будет?

– Куда ты как спешишь?

– Гости разойдутся, пока ты аджику в стакане с водой разведешь!

– Не бойся, никуда они без тебя не разойдутся!

– Я ничего не боюсь. Ты бойся, что тебя такую неповоротливую никто замуж не возьмет.

Тут Гунда разревелась и вообще перестала все делать. Хумач понял, что с девочками на такие темы говорить вообще нельзя. Пришлось исправлять положение своими силами.

– Не плачь, Гунда, – сказал он как можно ласковей. – Если никто тебя не возьмет, я сам на тебе женюсь.

Девочка метнула уничтожающий взгляд на Хумача, а потом начала с ожесточением кромсать зелень, карябая ножом доску.

– Больно ты нужен!

Подливу Хумач нес на вытянутых руках, пробегая в сумерках по огороду и цепляясь носками ботинок за торчавшие из земли стебли томатов и баклажанов и крепкие пирамиды ахула.

В доме уже зажгли свет, и через незанавешенные окна было видно, как Мама накрывает на стол. Вот мамалыга – белая дымящаяся в тарелке горка кукурузной каши. В горячем ее теле плавится сейчас желтый ломтик копченого сыра. К мамалыге будет фасоль и мясо, не зря же он бегал за подливой!

– Значит, вы аж из самой Мегрелии к нам ехали, – услышал Мальчик голос Отца, едва приоткрыл дверь.

– Да-а-а, – тянут в ответ гости и долго кивают головами. – Из самой Мегрелии.

«Эх, Гунда, Гунда! – думает про себя Мальчик. – Если бы ты не так копалась, сколько бы интересного я здесь услышать мог! Не каждый же день к нам гости из Мегрелии во двор заезжают».

– А какой в ваших краях урожай кукурузы? – интересуется Отец.

– Как везде, наверное, – разводят руками приезжие. – Кто удобрения не пожалел, тот со своей мамалыгой будет, а кто весной на землю понадеялся, тот у колхоза кукурузу покупает.

– Да, – понимающе качает головой Отец. – И у нас теперь надежда на землю плоха. Истощилась она, истратилась.

– У вас и земли не будет, на воздухе какой-нибудь урожай получите. Здесь среди камней корень вкопай, чтобы ветер его не унес, и природа жизнь ему даст. Благодать, а не климат! А у нас среди камней живой росток засохнет, если каждый день в него душу не вкладывать. Нас природа, кроме каменистой земли, ничем не одарила. Ну, да и за это спасибо ей! – вступает в разговор самый молодой из гостей, а тот, что постарше, как бы отвечает ему:

– А все равно, какой бы она не была, родная земля, добрее и милее ее нет. Лишить родной земли все равно, что сердце из груди вынуть.

– Знаю, к чему ты свой разговор клонишь, – понимающе смотрит на него Отец.

– Да, да, – продолжает гость. – Это какую же муку нужно было придумать своим людям! Какую пытку для своего народа, сочинил этот Берия. Помню, он сказал тогда: «Это село остается, где стояло, а то, что за рекой, само себе корень подрубает и переезжает на другую землю:» Или вот еще страшнее: «Те, кто по правую сторону реки живут, тем там и жить, а кто по левую поселился – заколачивай дом, погружай на арбу семью и пожитки и езжай в Абхазию. Нет, Абхазия, конечно, сосед наш и земля там хорошая, и природа такая, что как в раю растет все. Но у соседей всю жизнь жить, это не дома. И как это можно отца родного за рекой оставить и самому уйти искать лучшей земли?»

– Каждый народ такое переживает в своей истории, – говорит Отец сочувственно. – У абхазов три махаджирства на памяти, а родственники так далеко за морем, что за день не доплыть и на лошади не доскакать.

– Махаджирство – беда, но ведь от врагов ее терпели. От врагов не то увидеть можно, а наш народ за что разбросали? За что? И, главное, кто? Не чужой ведь человек. Среди нас рос, обычаи, наверное, чтил до поры до времени. Без этого нельзя, высот бы таких не достиг. Народ в нем

заступника видел, а он вон как своими людьми распорядился! Как высоко поднялся, так и честь забыл. Забыл, что у нас стариков слушать принято. Не душу человеческую видел, не судьбу, не старика того же, а «двор», «переселенца», «нового жителя». Того же старика не спросил, где тот хочет в могилу после смерти лечь, в свою землю или в чужую.

– Что теперь говорить, – горестно вздохнул Отец. – Теперь прижился ваш народ и не жалуется вроде. Поначалу помогли им, чем могли, теперь они и сами не бедно живут.

– Сейчас уже никто, конечно, не жалуется. Свыклось все как есть. Все хорошо живем, в гости друг к другу ездим. Только ведь есть порядок вещей, в который лучше со своими законами не вмешиваться. Ты вот землю свою раньше времени поделил: за то тебе, конечно, спасибо, что Лада нашего голодным не оставил. Только ведь земля – не дерево, вверх не растет и ниоткуда не берется. Каждому по наделу не отрежешь. Земли ее, сколько есть, и больше не будет, не прибавится. Вам с Ладом своим сыновьям уже по полю не отрезать, свою отдавать нужно будет. Это одному сыну, а если другой народится, то ему уже и дать нечего будет. Придется в городе устраиваться.

Ведь то село, где Лад раньше жил, так покинутым и стоит. Верно, земля там не очень богата и от города далеко оно, но село ведь. Веками там люди жили, радовались, детей растили, а как с корнем их оттуда вырвали, так оно и опустело, вымерло и не цвести ему больше. Нет там корней, а новые деревца они сейчас теплицы просят.

Дверь робко скрипнула и через узкую щелочку в комнату протиснулась худенькая высокая фигура Ладова сына. Он был такой тонкий и длинный, что, казалось, ветер внес его в комнату вместе со сквозняком.

Войти-то Дзыку вошел, а вот что делать дальше, видно, не знал. Глазами он искал в комнате Хумача и не ожидал встре-

тить здесь столько гостей, которые почему-то при виде его очень обрадовались:

– Лад!

– Лад!

– Лад! Дорогой! – по очереди воскликнули все гости. Услышав, как имя его отца произносится на мегрельский лад, Дзыку выпучил от удивления глаза и вытянул почему-то от удивления губы, словно готовясь сказать: «У-ух! Ты-ы»!

– Дзыку! Дорогой племянник!

– Как ты вырос! – Как ты похож на своего отца!

Гости вскочили со своих мест и стали наперебой целовать Дзыку.

– На другом конце света встретил бы тебя, все равно узнал бы! Как ты похож на отца своего! Как в детство вернул меня! Словно это Лад маленький в наш дом дверь открыл. Только вот я все равно старым остался.

– Как ты похож на отца!

«Еще бы! – подумал Хумач, – Такой же тонкий стручок горького перца». Мальчик все еще сердился на Дзыку за их воровство в чулане.

Когда дяди, зацеловав бедного племянника, отпустили его, наконец, и сами сели на свои места, Дзыку в жизни, в наверное, столько поцелуев сразу никогда не получавший, остался в полной растерянности стоять посреди комнаты, как молодая невестка.

– Эй, Дзыку! Иди сюда, – тихонечко позвал его Хумач из своего угла, откуда наблюдал всю картину встречи. Ему стало очень жалко растерянного Дзыку.

Дзыку, вконец обалдевший от поцелуев, шарил теперь глазами по комнате, все время проскакивая взглядом мимо Хумача, сидевшего в уголке между стеной и бухаром. И только, когда Хумач высунул на свет голову, Дзыку заметил его, но стоило лишь сыну Лада нырнуть в темноту угла, как голос Отца Мальчика позвал его оттуда.

– Дзыку, беги быстрее домой, зови Лада к столу, а то я уже своего Хумача собирался к вам посылать.

Прежде чем выйти из комнаты, Дзыку тихонечко шепнул Мальчику на ухо: «У меня к тебе дело есть».

«Вот интересно, – подумал Хумач. – Какое это у него дело ко мне?» После того, как Дзыку втянул Мальчика в постыдное дело с залезанием в кладовку, Хумач с ним больше никаких дел не имел. «Интересно, какое это у него ко мне дело? Долго ли он за своим отцом бегать будет? Я бы, наверное, уже раз пять туда и обратно сбегал, если бы у меня важное дело было!»

В нетерпении Хумач даже встал со своего места и вышел из комнаты, чтобы во дворе встретиться с Дзыку и скорее узнать про его дело.

Темнота была уже такой густой, что Лада стало видно в ней лишь только тогда, когда он вынырнул из ночной тьмы почти у самого дома. Самого Дзыку видно не было. Ах, вот его щуплая фигурка показалась на огороде совсем близко.

– Дзыку! Ты что так долго? Еще говоришь, дело у тебя какое-то. Пойдем скорее в дом.

Дзыку задумчиво молчит в ответ.

– Нет. Не пойдем в дом, – хмуро отвечает он наконец. – В дом не пойдем. Здесь говорить будем.

– Здесь? – переспросил Мальчик расстроено, уже пожалевший, что поспешил покинуть свой угол за бухаром, где можно было услышать столько интересного. Сиди он там, Дзыку ничего не оставалось бы, как выкладывать свое дело в комнате.

– Нет, – твердо говорит Дзыку. – Даже не здесь. Давай лучше за апацху отойдем, а то еще дверь откроется, и кто-либо услышит нас. У меня тайна, – заключил он, как бы подтверждая этим необходимость спрятать разговор подальше от чужих ушей.

Тайна... От этого слова во рту появился какой-то горьковатый вяжущий привкус. Тайна...

У Мальчика была пока только одна тайна в жизни – встреча с Мыной.

Горько, как горько все это. Тайна, где она? Тайна Мальчика – это поле, Мына, игра. Тайна...

Нет, Мына – это не игра, это – серьезно, это – очень серьезно.

Горький вяжущий вкус во рту – это, наверное, герань, запах герани, который растворился на языке.

Мына. Где он?

– Пойдем же! – Дзыку тянет его за руку к апацхе.

– Зачем, – разочарованно старается вспомнить Мальчик.

– Ах, да... Да, конечно же, тайна... Какая она у Дзыку?

Тайна Дзыку, она может быть любой, только не горькой.

Горькая тайна – это Мына, но этой тайны уже нет. Есть только горечь во рту. Почему? Потому, что этой тайны уже нет.

Нет, не оттого, что Мыны больше нет. Мына есть. Просто он не приходит больше на поле. Вот и нет тайны.

– Хумач! Ты что, не слушаешь меня, что ли совсем? Я должен уйти из дома. Может быть даже... навсегда.

– Уйти из дома? – словно бы очнулся Мальчик. Он не знал, чтобы кто-то из его знакомых уходил из дома.

– Да, Хумач, – горько покачал головой Дзыку.

– Куда же ты пойдешь?

– Не знаю еще...

– Да... Дзыку!

– Слушай, Хумач, а может ты меня у себя на огороде спрячешь?

– А разве это называется уйти из дома навсегда? – засомневался Мальчик.

– Нет, но у меня другого выхода нет больше, – развел руками Дзыку. – По улицам же я скитаться не стану.

– Да... Дзыку, – протянул еще раз Мальчик, соображая получше, чем может помочь товарищу. – Ой, Дзыку! – хлопнул он себя к ладонью по лбу. – Слушай меня. Знаешь ли ты, что у тебя свой дом есть?

– Дом? – губы Дзыку снова вытянулись, словно бы он опять собирался протянуть «у-ух, ты-ы!».

– Да, Дзыку, целый дом, а, может быть, даже целое село. Пустое, никем не заселенное село, где у тебя есть своя земля и сад, наверно.

– Где? – почти прокричал сын Лада, забыв про тайну.

– В Мегрелии, Дзыку. В Мегрелии. Ты знаешь, что у твоего отца там был целый дом? Было хозяйство. Там похоронены твои дед и бабушка.

– Что ты говоришь?! Хумач!

– Да, да!

– И я могу жить там?

– Этого я не знаю, – засомневался Мальчик, – Сможешь, наверно, если захочешь.

А Дзыку уже кружился по темному двору и повторял:

– Мегрелия, Мегрелия, как зачарованный, не отрывая взгляда от ночного звездного неба, – Мегрелия, Мегрелия...

Вдруг голос его стих и, разочарованно посмотрев на Мальчика, Дзыку спросил совсем уже тихо, словно боясь спугнуть робкую, тающую свою мечту, проходящее свое очарование:

– Хумач, – сказал он шепотом и повторил совсем еле слышно. Хумач, разве есть такая страна на самом деле?

– Что ты говоришь! – закричал во весь голос Мальчик, не в силах сдержать гневного удивления. – Как ты можешь такое говорить?! Как ты мог вдруг усомниться в существовании этой страны, если целых три твоих дяди только что приехали оттуда?

– Понимаешь, Хумач, – начал Дзыку, – я всегда думал, что Мегрелия – это прекрасная сказка, про которую мне



рассказывала мать. Мегрелия – это страна, где живут добрые и злые духи лесов, так всегда говорила мне мама. Это страна, которую охраняют горы, и нет такого уголка, куда бы не заглядывали белоснежные вершины. Мегрелия – это храм, в который уходят души мертвых мегрелов. А ведь живые и мертвые в одном месте жить не могут.

– Дзы-ы-ку! – только и сумел протянуть Мальчик. Вселенское удивление охватило его, прикрыв доступ наружу толпившемуся где-то внутри него потоку слов. Заглотив комок воздуха, Мальчик хотел выпустить эти слова наружу, но выдохнул все то же протяжное, надрывное «Дзы-ы-ку!», потом он еще раз заглотнул воздух и сказал: – ...но ведь целых три твоих дяди только что приехали из Мегрелии к тебе. – Потом вдруг страшная догадка осенила Мальчика, он сам засомневался в сказанном и поэтому переспросил недоверчиво: – Или ты сомневаешься в том, что они... что они... живые?

Сын Лада никогда, видно, в этом не сомневался, но, услышав вопрос Мальчика, сразу же засомневался, а потом, припомнив, как дяди целовали его, едва не придушив в своих объятьях, сразу же перестал сомневаться.

– Нет, что ты, Хумач, они живые, – протянул он, на всякий случай поглядывая на светящиеся окна дома. – Но моя мама всегда рассказывала сказки, в которых Мегрелия – это страна, где самые быстрые и разговорчивые реки. Наши люди говорят на языке горных потоков, прислушайся, это реки учили мегрелов языку. Там живут орлы – птицы с душами храбрых воинов, – дальше Дзыку, не делая остановки в речи сразу же после орлов, выпалил вдруг, – Я тоже хочу жить там, если эта сказочная страна действительно существует.

– Ты что, продолжаешь еще сомневаться?

– Нет, Хумач, нет. Теперь я все знаю, но как я попаду туда? Потом ведь я же не собирался бежать из дома насовсем,

а только хотел исчезнуть на некоторое время, чтобы мой отец заволновался, подумал, что меня нет на свете, что я умер, и простил бы меня.

Из соображений такта Мальчик не спрашивал у Дзыку, что заставляло его покинуть отчий дом, теперь Дзыку рассказал об этом сам.

– Тогда, – продолжал сын Лада, – отец сказал бы: «Зачем я так ругал моего Дзыку. Если бы мой дорогой сын вернулся сейчас домой, я бы простил ему эту тощую курицу, что он вытащил из курятника и зажарил на костре за забором огорода. Если бы мой мальчик вернулся сейчас домой, я бы перерезал для него всех кур и даже того жирного соседского петуха». И я бы тогда вернулся. А Мегрелия – это, наверное, очень далеко и раз эта такая прекрасная, сказочная страна, то мне и возвращаться оттуда не захочется. А как мои родители узнают тогда, что я жив?

– Да, это, конечно, важно, – подтвердил Мальчик.

– И не только это, – продолжал Дзыку, – есть у меня здесь еще одно дело.

– Какое же? Сын Лада, решительный, напористый обычно парнишка, вдруг замялся и даже залился каким-то подобием краски стыда.

– Я вообще-то никому говорить об этом не хотел, но тебе можно, раз уж ты про меня все знаешь. Слушай: я скоро женюсь на Гунде. Она об этом не знает, и никто не знает. Ты ей сосед. Тебе на ней по обычаю жениться нельзя, поэтому я тебе все и сказал. Уеду я или не уеду – это как получится, но жениться на ней я все равно женюсь. Так что ты за ней тут присматривай.

«Вот тебе и неповоротливая Гунда», – подумал Хумач.

– И в Мегрелию тоже хочется, – засомневался Дзыку. – В Мегрелии я обязательно должен побывать.

– Знаешь, Дзыку, ты должен попросить своего отца отпустить тебя на несколько дней погостить к родственни-

кам. Они же наверняка приглашать вас к себе станут. Дяди твои на лошадях, они и возьмут тебя с собой, поживешь там, погостишь, а потом... потом видно будет,

«Потом видно будет» Мальчик произнес как-то неуверенно, думая в этот момент почему-то о Гунде. Сам он жениться пока не собирался, а на этой неповоротливой девчонке тем более, но Мальчику от души стало вдруг жалко соседку, когда он представил ее женой Дзыку. Ей тогда придется разводить и кормить бесчисленное количество кур, а во дворе тем временем будет пылать огромный негасимый никаким ливнем костер, в котором сам Дзыку без конца станет этих кур жарить.

– В Мегрелии тебе очень понравится, – с новой уверенностью сказал Хумач, словно сам только что вернулся из этого края.

– С этим все решено, – заключил Дзыку, – теперь нужно решить, что брать с собой в дорогу.

– Сапоги, – тут же выпалил Хумач. – Первым делом сапоги. Там придется столько рек пересекать, что без сапог никак нельзя. И потом еще на дороге очень пыльно, так что лучше в сапогах. А еще лучше нам с тобой сейчас в дом пойти и послушать, о чем твои дяди говорят. Потом все ясно будет.

Войти в дом незамеченными оказалось очень легко, взрослые были очень увлечены застольным разговором. Проникнув в дом на цыпочках, мальчики пристроились все в том же углу между стеной и бухаром.

Спиной к ним теперь сидел Отец Мальчика, по бокам стола располагались гости, а напротив – Лад. Все они говорили о старом времени. Меньше всех слышался голос Лада. Он только отвечал на вопросы или кивал головой, если его просили подтвердить что-то. Мальчик внимательно посмотрел на соседа. Лицо его было спокойно и участливо, только глаза жили, кажется, своей самостоятельной отдельной

жизнью. Сначала могло показаться, что они приезду гостей не очень рады, но потом Мальчику стало ясно, что глаза эти почти безразличны ко всему, неподвижны и смотрят всегда в одну точку, а точнее в темноту угла, где теперь прятались мальчики. Глаза эти рассказывали темноте то, что невозможно было выразить сейчас словами всем сидящим за столом, но еще невозможнее, видно, было держать в себе. А в углу сидели мальчики, и один из них жадно слушал каждое произнесенное за столом слово, глазами старался уловить движения губ говорящих гостей, а другой спокойно внимал немому рассказу глаз соседа.

«Да», – отвечали губы Лада на обращенный к нему вопрос.

– Помню, – кивал он головой в такт разговора, а глаза его продолжали тянуть нить своего рассказа.

«Как же это научиться знать свою жизнь наперед? – говорили глаза Лада. – Вот, думаешь, идешь по жизни, оступился, сорвался где-то, никто тебя не видит и ладно. Ан нет! Месяц пройдет, год – все равно кто-то припомнит тебе тот день. И не злом припомнит, а добром, а тебе от добра этого так тяжело станет, будто в тот, дальний день, когда ты оступился, кто-то окликнул тебя. Окликнул, покачал головой и сказал: “Зачем же ты, брат, так? Стыдно так, Лад! Зачем в могилу кол своего забора вбил? Ведь внук этого покойного, чьим костям покоя нет, твоих гостей принимать будет, и не просто так из приличия за свой стол посадит, а козу для них зарежет”.

Какую козу? Да ту самую, на которую ты землю купил и которую потом бил со злости, что не твоя она коза, а в огород забрела, а бил-то не за съеденный початок кукурузы, а за то, что не твоя она теперь. Будто коза эта сама за землю продалась».

«Коза?» – еле слышно прошептал Мальчик.

«Коза», – подтвердили глаза Лада, неподвижно глядящие в темноту.

– Какая еще коза? – Дзыку толкнул Хумача локтем в бок.  
– Слушай лучше, о чем они говорят. Интересно, правда?

– Да, – ответил Мальчик рассеянно.

«Коза, – промелькнуло у него в голове. – Коза». Он не заплакал, не закричал, не забился в истерике от обиды и боли за любимое животное.

Гости – это свято. Гости – все лучшее в доме для них, а коза – это ведь лучшее. Он никогда раньше не думал о том, что коза может быть мясом, угощением для гостей. Коза была другом.

«Гости – все лучшее в доме для них». Откуда эти слова живут во мне? Кто так говорил? Отец? Мать?

Нет, они так не говорили никогда. Они просто всегда так поступали.

Наверное, так говорил дед, которого Мальчик не помнил, или прадед, и слова их остались жить в этом доме.

\* \* \*

Утро каждого следующего дня Мальчик начинал с неизменного своего «Кар!» Вороне. Раньше птица отвечала ему таким же приветствием, теперь она просто подползала к лучу солнечного света, чтобы увидеть утро и Хумача. Мальчик не терял надежды услышать в один прекрасный день знакомое бодрое «Кар!» и каждое утро забирался под кровать, доставал оттуда вконец обессиленную Ворону и, сажая ее на подоконник, как бы показывал ей новый день ее жизни, который, быть может, подарит им двоим какие-нибудь радостные изменения.

В одно утро солнце не разбудило Хумача, как обычно не погладив его по щеке ладонью луча. Солнце или вовсе не показалось из-за туч, или решило обойти в своем посещении комнату Мальчика. Какое удовольствие приносить новый день без надежды?

Как обычно, Мальчик не услышал ответа и полез под кровать будить птицу, которая в этот раз и до солнечного луча не продвинулась. Ворону он нашел на ощупь в самом дальнем углу, забившейся между стеной и ножкой кровати. Птица была неподвижной и еще какой-то тяжелой и холодной, почти как металл кровати. И еще там, в темноте Мальчик попытался слегка потрясти ее, чтобы заставить проснуться, но почувствовал, как на руке повисла на безвольно мотающейся шее голова Вороны. И еще там, под кроватью руками он ощутил мертвый холод безжизненного птичьего тельца, плоский, отлежалый за ночь ее бок, острый, обтянутый тонкой кожей с редкими взъерошенными перьями киль. На ощупь птица была твердой, окаменевшей какой-то.

Хумач вытащил Ворону на свет. Она была мертва, но Мальчик знал об этом еще там, под кроватью, теперь в глаза бросилось оттопыренное больное крыло птицы. На нем уже не было видно раны и поэтому, может быть, казалось, что на последнем своем вдохе Ворона, забыв про страдания и боль, расправила это злополучное крыло, лишившее ее полета, и где-то там, в темноте и пыли из последних сил взмахнула им, да так и умерла, представляя себя плывущей по ночному небу в неведомую даль на одном своем вдруг выздоровевшем и истосковавшемся по полету крыле.

\* \* \*

Мужчины не плачут.

– Мама, – окликнул Мальчик Мать, внося на вытянутых руках в апацху мертвую Ворону.

Мужчины не плачут.

– Мама, моя Ворона умерла.

– Боже мой! – вскрикнула Мама, увидев птицу. – Зачем же ты ее в апацху-то принес? – горестно вздохнула она, а

про себя подумала: «Дохой птицы только мне еще здесь не хватало!»

– А куда ее деть? – ища сочувствия, Мальчик поднес свою Ворону совсем близко к Матери, как бы показывая: «Вот, правда, умерла».

«Выбрось!» – чуть не вырвалось у Матери, но она почувствовала, что ее сын сейчас говорит и делает все как бы во сне, а когда эта первая волна потрясения схлынет, он, как всегда, разразится слезами.

– Похоронить нужно ее, наверное, – спокойно сказала Мать, в то же время внимательно выпрашивая его взглядом: «Будешь плакать или нет?»

\* \* \*

– Дзыку, моя Ворона умерла.

– Она летала уже вроде.

– Летала, но потом заболела, а сегодня ночью умерла.

– А! – мазнул рукой Дзыку. – Все равно ей умереть суждено было. Не тогда на поле, так сейчас, один конец!

– А я думал, в стаю ее запущу.

– Да их там в стае – стрелять, не перестрелять. Без твоей калеки разбойников на поле хватает. Ты только плакать не вздумай, Хумач, а станет скучно, я тебе другую подстрелю.

\* \* \*

– Гунда, моя Ворона умерла сегодня ночью.

– Что ты говоришь? Жалко как! Так и не увидела больше неба, бедная птица.

– Да, Гунда, я ее уже в стаю запускать собирался.

– Что же теперь делать, Хумач?

– Хоронить.

Гунда ушла в свою комнату и принесла оттуда новое вышитое полотенце. – Вот, возьми, – протянула она полотенце Мальчику. – Я его сама вышивала, заверни в него птицу, когда хоронить будешь. На нем цветы и... птицы... тоже разные.

– Спасибо, Гунда.

– А где ты ее хоронить решил?

– На кукурузном поле. Там под поваленным дубом настоящее поле есть, в него Ворону и зарую.

– Правильно. Знаешь, ты потом на могилу еще кукурузы насыпь. Она же любила кукурузу. Так всегда для мертвых делают.

\* \* \*

Солнце в этот день все-таки выглянуло из-за туч. Просидев на поваленном дереве, Мальчик проследил, как оно, пробиваясь, время от времени сквозь сетку облаков, прошло свой путь от утра к полудню, а от полудня уже начало двигаться в сторону заката.

С самого утра Хумач сидел и смотрел, как изгибается на небе эта золотая солнечная дуга, смотрел и думал о чем-то, а о чем точно и сам припомнить не мог. Иногда он вспоминал Мыну, козу, Ворону, но там, в его памяти, все было, кажется, совсем по-другому, чем было на самом деле: о поваленном дубе, на котором сейчас сидел, он думал как о как-то далеком, давно виденном им, а дерево, на котором сидел, было совсем иным, не могучим великаном, у которого они с Мыной запускали в небо Ворону. Тогда она особенно высоко летела. И запускали они другую, свою Ворону, вовсе не эту мертвую птицу, что лежит теперь рядом с ним на стволе. Рядом тогда паслась коза. Потом в их доме угощали гостей козлятиной, но это было уже просто мясо для гостей и с той козой оно никак не связывалось.

И даже Мына...



Нет, Мына и в воспоминаниях оставался Мыной, только сейчас о нем вспоминалось и думалось совсем не то, что вспоминалось раньше по ночам, когда он старался скорее уснуть, чтобы встретиться с Мыной. Вот, например, никогда Мальчику раньше не приходил на память вопрос Мыны: «Хумач, а кто тебя назвал Хумачем?»

Почему же? Быть может, когда Мына был рядом, такие мелочи вообще не замечались, а теперь, когда его нет, копится и собирается каждая малость, каждая крупинка, которая может быть на мгновение приблизить сейчас его образ? Раньше сами эти понятия «память» и «Мына» никогда не связывались друг с другом. Мына был Мына, а память – то, что было давно, например, когда Мальчик совсем маленьким в прошлом году ездил с Отцом в соседнее село.

– Хумач? А кто тебя назвал Хумачем? Отец?

– Отец говорил, что дед.

– Мудрый, видно, был человек. Хорошо внука назвал.

– А мне не нравится. Я уже большой, а соседи все Хумачем дразнят. «Маленькая порция» – что это за имя?

– Разве в том беда, что тебя большого маленьким в шутку называют?! Плохо, что не шутка это, а правда «Маленькая порция».

– Нет. Это было раньше.

– Что?

– Маленькая порция. Ты знаешь, почему они меня Хумачем звать стали?

– Интересно, почему?

– Я, Мама говорит, маленьким родился и быстро рос потом, а она мне продолжала мамалыги маленькую порцию накладывать, все думала со взрослой не справлюсь. Я такую порцию как увижу, плакать начинаю «Мало мне! Мало! – кричу. Еще этой порции не съем, а добавки прошу.

– А теперь?

– Теперь она мне мамалыги как всем дает. Теперь обидно Хумачем называться.

– Хумач, но ведь Божья коровка на самом деле никакая не «Божья» и тем более не «коровка».

– Я про это тоже думал.

– А про себя ты думал? «Хумач» – имя не обидное, а правильное очень. Дед твой мудрым человеком был, наперед все видел. Тебе уже от рождения маленькая порция всего досталась.

\* \* \*

Теперь единственное, что связывало Мальчика сейчас с его памятью, была Ворона, которую нужно было похоронить сегодня же до вечера, чтобы не оставлять мертвую птицу на ночь на растерзание бродячим собакам.

Мальчик не знал как хоронят птиц. Небогатый жизненный опыт подсказывал ему, что всех, кто умирает, положено зарывать в землю, но что должно предшествовать самому этому скорбному акту, Хумач представить как-то не мог. Между Смертью и похоронами должна быть какая-то церемония прощания. Но какая именно она для птиц? Мальчик не знал этого.

Вообще получалось, что он старается сейчас как можно меньше думать о мертвой Вороне, иначе становилось страшно от сознания того, что ему предстоит теперь жить только со своей памятью, когда он опустит птицу в поле и присыплет ее землей.

Чем больше думал он сейчас, тем больше убеждался, что он не умеет, наверное, не знает, как жить со своей памятью о прошлом. Он многого теперь даже не представляет себе. Не представляет, например, того, что будет делать, когда придет сегодня поздно вечером домой. Допоздна он будет бродить по кукурузному полю. Что будет завтра, когда он

проснется в своей пустой комнате и изо всех сил будет подавлять в себе глупое желание не каркать и не залезть под кровать в поисках птицы? Что ответит Матери, если завтра утром она спросит, зачем он снова идет на поле, если ни козы, ни Вороны у него больше нет?

Что же это получается? Теперь он про себя вообще что ли ничего не знает?

Нет, почему же!

В чем-то он уверен теперь абсолютно точно, даже больше, чем вчера или позавчера. Так, например, он точно знает, что никогда больше не будет плакать, разве только еще один раз, когда сегодня будет оплакивать свою Ворону, зарывая ее в землю. Пускай вместе с ней уйдут в землю последние его слезы.

Над головой время от времени вилась какая-то птаха. Когда она не кричала «Жить всем! Жить всем!», ее хотелось представить Вороной, которая, делая в небе круг за кругом, опускалась где-то в траву, быть может, на спину ожидающей ее там козочки. Когда же эта птаха кричала свое «Жить всем! Жить всем!», Мальчика раздирало желание крикнуть ей в ответ: «Это – неправда! Есть еще страшный альбом и в нем приготовлены чистые листы для тебя и для твоих птенцов, глупая!», но крикнуть так было бы жестоко, а любая жестокость – зло, со злом же нужно бороться, тем более со злом в себе. Мальчик боролся с ним как мог. Подавлять же в себе зло, обиду и слезы одновременно было особенно трудно. Не реветь от обиды, не кричать ничего птице в небе, когда рукой все время хочется дотянуться до мертвой Вороны, лежащей на стволе рядом – это мука. Мука разъедает сердце и от боли в нем хочется плакать, и с мукой тоже приходится бороться. Вот и получилось, что со всей своей сложной внутренней борьбой он сидит сейчас на поваленном дереве и смотрит, как птица в небе выписывает круги.

Когда смотришь на нее долго, кажется даже, что за словом «было» у него таится теперь гораздо больше, чем предстоит в нетаинственном «будет». Был Мына. Сейчас ему отведено почти все место в памяти, за исключением, пожалуй, уголка, где скромно поселилась белая козочка, и еще одного незанятого места для Вороны, Пока еще несколько часов, наверное. Ворона будет существовать вместе с ним в его сегодняшнем «есть», «сейчас», а потом из «есть», когда оно перейдет в свое «будет», Ворона сразу же откатится в «было», станет памятью.

Мына был.

Может быть, он есть и сейчас, иначе чем объяснить, что в отведенном ему месте памяти он никак не уменьшается, словно бы просится оттуда быть с Хумачем все время вместе.

Хорошо бы, если так. Сейчас иногда даже кажется, что его на самом деле не было, что Мына – прекрасный добрый сон, который снился ему несколько ночей подряд. А как же тогда девясил, запах чурека, как поступить с ними? Откуда тогда взялись они?

Тогда девясил – просто трава, про которую Мальчик все сам придумал, чурек – прекрасная забытая еда прошлого, вкус и запах которого живет, наверное, в доме со времени деда где-то рядом с его словами «Все лучшее – для гостей!» и с другими забытыми вещами и кушаниями, которые Хумач никогда не видел и не пробовал, но о которых откуда-то хорошо знает.

Еще остается непристроенным в понимании орех – маленький плод старого Акакана, который он взял на память, с ним тогда как поступить? Орех ведь был на самом деле, он лежал сейчас в его кровати под подушкой.

И Мына тоже был на самом деле, он даже есть, только не здесь, не с Хумачем, а где-то совсем рядом. Мына есть, Мына не может никуда исчезнуть.

...Мына ...Вместе с ним они у этого дуба подбрасывали Ворону. Тогда она летала особенно высоко.

...Птица в небе завершила круг и спряталась где-то в курузной чале...

В отведенном уголке памяти поселилась козочка. Она живет там, тихая, безобидная, безропотная, поедая траву памяти, вылизывая соль памяти – белый твердый комок высохших слез. Она была еще козочкой, слово «коза» как-то не подходило к ней. Велико было козочке это большое взрослое слово.

Когда Хумач вырастет, он заведет себе целое стадо коз, как дед, станет гонять свое стадо в горы на альпийские луга.

Козочка, она, кажется, став взрослой козой, так и не научилась бы бодаться, не научилась бы бояться волков. Только такое кроткое и безответное существо может там, в памяти, осушить слезы и избавить от их разъедающей горечи.

Когда у Хумача будет много коз, он никогда не станет кормить их комбикормом...

Птица, появившись в небе, завершила еще один свой круг.

Теперь у Мальчика оставалась только Ворона, и пока она еще не ушла в землю поля, почему-то безотчетно хотелось верить, что за этой горькой полосой потерь и неудач еще наступит время понимания и радости, и все вернется на круги своя.

«Вот же! Вот! Еще Ворона с тобой. Значит и все, о чем ты помнишь, было на земле, значит, это – не сон. Это нужно пережить, перетерпеть, перестрадать, наконец, и все вернется, все повторится для тебя. Нужно только пережить и перетерпеть...»

...Только птица, завершив в небе круг, опустилась на землю...

«Значит, если птица опускается на землю, значит, из круга все-таки есть выход. Он и состоит, видимо, в том, чтобы

сойти с круга, опуститься ниже привычного витка, как птица, например. Значит, ничего не вернется...»

Тогда куда же опускаться тем, чей круг и так проходит по земле? Еще ниже, получается могила. Интересно, а кто-нибудь пробовал выйти вверх, подняться над кругом? Выше жизни и смерти – бессмертие, но круг почему-то всегда завершают падением. Дзыку сказал тогда, что вороний круг завершился еще выстрелом на кукурузном поле. Раненая, она уже тогда была обречена на смерть, если бы не я... Нет! Если бы не Он. Мына спасал Ворону. Тогда Ворона обрела свой новый круг – жизнь на земле, и вот теперь, как все земные, должна уйти в могилу.

Вот только не вяжутся как-то тогда ее высокие полеты после выздоровления. Тогда получается, что из одной своей жизни она вылетела в другую. Получается, что...

Ничего не получается...

Тогда – все мы, кто ходит по земле – упавшие птицы. Если мы упавшие птицы, то всегда есть надежда стать птицами настоящими».

Упавшая птица лежала на стволе дуба, а птица живая трепетала в небе, тревожно крича: «Жить всем! Жить всем!» Она старалась сейчас привлечь к себе хитрую, притворившуюся, видно, спящей Ворону. Там в ветвях дуба слабо попискивали от голода ее птенцы, и мать, наловив мух в небе, каждый раз с тревогой опускалась к гнезду, делая несколько обманных витков и петель еще над самыми макушками чалы, стараясь запутать хитрую хищницу, прежде чем набьет едой клювы своих желторотиков. Потом она снова поднималась в небо и громко кричала там, поглядывая, не оживает ли хитрая Ворона и не бросится ли догонять птицу в небе в надежде отыскать ее гнездо где-либо далеко отсюда, а пока птенцы не проглотили мух и не начала снова пищать от голода, нужно было еще и еще ловить им пищу в воздухе.

От полудня солнце уже двигалось к закату, и чтобы последние теплые лучи его успели прогреть темное земляное ложе Вороны, нужно было рыть птице могилу.

Смотреть на черный холмик каменистой земли и завернутую в цветное полотенце Гунды мертвое тело Вороны со слипшимися синеватыми веками глаз и оттопыренным крылом спокойно, как на догорающее солнце или живую птицу в небе, было невозможно, а хоронить Ворону сейчас он был как-то не готов. Зарыть в землю ее можно было и через час и через два. Зарыть ее в землю означало теперь – стереть в памяти о прошлом живой блеск. К невозвратности Хумач был как-то не готов.

Кукурузное поле тоже умирало потихоньку. Широкие, некогда говорливые листья пожелтели и надломились от пережитых ветров. Только лишь когда Мальчик прикасался к ним руками, листья начинали умоляюще просить его «Тиш-ш-ше...Тиш-ш-ше», словно устало заклинали не будить покоя стареющего поля. Каждый кукурузный ствол теперь тихо умирал с сознанием исполненного предназначения – по одному зрелому початку выглядывало из потрескавшейся обертки.

Кукуруза умирала равнодушной даже к неполноценным своим детям: изъеденные червяками, уродливые, с разрушившимися зернами – мешками, из-за которых сыпалась черная пыль, больные початки тут и там выглядывали из-за пазух старых листьев, а некогда брезгливая чала – недоtroга молча взирала на них. Она смиренно ожидала, когда ее срубят острым серпом, а поправлять что-то или тем более выбрасывать новый початок у нее не было уже сил и времени.

Побродив так по полю, Мальчик наткнулся вдруг на запоздалый зеленый ствол кукурузы с совсем еще молодым, молочным початком, из нежных зеленых оберток которого, поблескивая на закатном солнце, висел русский локон

мягких волос-тычинок. Такую кукурузу больше всего любила Ворона.

Найти второй такой початок на поле было совсем не легко. Прикасаясь к Мальчику, пыльные листья просили не разорять их покоя, но Хумач все-таки высмотрел еще один зеленый кукурузный ствол.

Перед тем, как опустить в могилу мертвую птицу, Мальчику захотелось в последний раз крепко сжать ее руками или, еще лучше, положить за рубашу, но он не стал этого делать. Зачем? Он же знает, что Ворона умерла, это руки и тело еще не верят в смерть и хотят почувствовать биение ее живых крыльев. На бугорок могилы Мальчик положил початки молодой кукурузы. Ему казалось, что птица еще услышит его голос, и он сказал ей как бы на прощание:

– Я всегда буду приносить тебе молодую кукурузу с поля, на котором ты умерла. Я буду приходить к тебе.

Постояв еще несколько минут молча, он пошел через кукурузное поле как раз навстречу солнцу. Обернувшись в последний раз, Хумач увидел, как закатные лучи скользят по живым локонам молодых кукурузных початков, лежащих под старым, замшелым от времени дубом – мертвым памятником мертвой Вороне.

...Хлопотливая птаха с криками «Жить всем!» завершила последний свой дневной круг и села прямо на гнездо.

\* \* \*

«Пора, наверное кукурузу ломать», – подумал Отец, выгоняя рано поутру корову со двора.

«Даже если и пора, сегодня на поле не пойду. Кукурузу ломать, как любое другое дело делать – не один день работать. Початки убережешь – чалу режешь, чалу срезал – свяжи ее, связал – в стог сложи. Чалу со всего поля в стога сложить вокруг дерева – это опять – три дня работы. И дерево, где



чалу вешали», буран повалил. Во дворе хурма засохла – ей ветки укоротить нужно и хороший стог получится. Только вот на хурму лазить страшно – ломкая больно».

Кукурузу ломать – заряд не на один день нужен, а у него сегодня заряд – крышу к зиме в коровнике починить, тем более, что кукурузе еще постоять, наверное нужно, чтобы крепче была.

С крыши сарая кукурузное поле до самого края видно. Слава богу, в этом году урожай выдался, не погорел от засухи. Порча, правда, на початках кое-где есть, но без нее ни один год не бывает. Говорят, опрыскивать можно семена и землю еще поливать чем-то. Ну да это уже на следующий год пускай голова болит. В этом бы году урожай убрать – не потерять, чтобы и не рано, и не поздно, а как раз вовремя. Скоро, уже, наверное. Дела одно за другим идут, а то еще и парами и не кончаются, и каждый год как по кругу.

«Ломать что ли ее или не ломать пока?! Эх, что себя утруждать! Сегодня настрой – крышу починить, настроено пользоваться нужно. Раз залез наверх – давай работай, а не по сторонам глазей. С крыши никогда не узнаешь, пора ее ломать или не пора. Это на поле выйти надо. На поле все понятно сразу становится. Если пришел туда и видишь – пора урожай убирать, бери корзину и убирай, а коли стоишь там и вопросы себе задаешь, как на крыше, надо ее ломать или подождать еще, значит, постоит она еще неделю-другую».

На поле идти нужно!

За обедом жена сама завела разговор:

– Кукурузу смотреть ходила.

– И что?

– Да, по-моему, поспела уже.

– Если поспела, завтра ломать будем.

– Вроде не ломает еще никто.

– Кто-то же первым всегда начинает.

– Ты сам лучше посмотри.

– Сейчас поем и пойду посмотрю. Сам об этом думал уже.

\* \* \*

На поле он понял, что кукуруза еще постоит на корню неделю-другую. Разломал початок, а он – не то, чтобы молодой, но сырой еще. Нет в том початке спелой прозрачности, той твердости, когда он в руках как стеклянный, аж до самой сердцевины светится.

Постоит еще кукуруза неделю-другую.

Отец прошелся по грядам, довольно поглядывая на увесистые початки, уже надломившиеся на чале от собственной тяжести.

Так довольный плодами труда своего и плодами земли Отец и вернулся бы домой, если бы взгляд его случайно не привлек увесистый в разодранной обертке спелый кукурузный початок. Полные, от основания до края уже вызревшие зерна его были раздроблены, изуродованы крепкими птичьими ключами.

«Вороны!» – зло подумал Отец, обламывая початок с чалы.

– Вороны, клянусь святым дубом, я их...

Потрясая в руках обломленным початком, он искал и не находил в небе птиц, словно точно зная, что они сейчас где-то здесь поблизости и что, заметив их, он перебьет ненавистную стаю, запуская в небо один изуродованный птицами кукурузный початок за другим.

– Я вас!..

Кого? Вороны прилетают на поле скрыто, под пологом сумерек или туч и, даже сторожа свое поле с ружьем день и ночь, подстрелить их на месте пира почти невозможно.

Отец знает об этом.

Осмотрев свое поле подобно врачу, осматривающему тело больного, он нашел на нем рану, от которой, кажется,

открылась и стала кровоточить рана на сердце. В самом центре поля весь урожай был выклевыван разбойными птицами.

«Не пахать, не сеять, не тохать.., а только клевать и гадить! Я вам..!»

\* \* \*

Если склотить из двух жердочек крест и на нем распять мертвую ворону, перепуганная стая, оплавав свою соплеменницу, навсегда покинет страшное поле.

Вот только добыть мертвую ворону нелегко.

\* \* \*

Вороны не воруют на поле, они просто берут с него дань – часть пищи, принадлежавшую когда-то всем птицам, которой они лишились, когда люди присвоили поле себе. Свою дань вороны стараются собирать незамеченными, потому как, украв поле, люди стали обвинять птиц в воровстве выращенного на нем урожая.

\* \* \*

С отчаянными, зловещими криками, ошалевшая от ужаса и ненависти, стая носилась над мертвой птицей, возвышавшейся над полем, распятой на сухой ветке срубленного дуба.

– Кар-р-р! – облепляли они мертвую Ворону, со свистом подрезая крыльями воздух над местом казни.

– Кар-р-р! Кто-о-о? Где-е? Мы выключем ему глаза!

– Кар-р-р! – уносились птицы высоко в небо, словно надеясь еще настичь мучителя недалеко от места казни.

– Где-е? – метались они по полю в зловещем оплакивании.

– Кар-р-р! Ка-ак они посмели это сделать?

Ошалевшая от ужаса и горя стоя была похожа на потревоженный улей, на черный ветер, готовый превратиться в смерч и мстить, мстить, мстить.

– Кар-р-р! – метались в небе птицы, сотрясая тревожными криками воздух.

– Пр-р-рочь! – негодовали они, улетаая от распятой своей подруги.

– Пр-р-рочь!

– Пр-р-роклятое поле!

\* \* \*

Больше всего поле теперь страдало не от воспоминаний острого плуга, режущего его живую плоть, не от боли, прорывающих измученную землю проростков кукурузы, не от цепких корней ее и едких, не вымытых еще дождями удобрений. Нет. Больше всего поле мучалось от сознания того, что всякая другая память, кроме этой, постепенно покинула его, угасла, подобно отдаляющемуся призраку колокольного звона, все еще носившегося где-то в закоулках тающей памяти.

«Бом-м...»

Боль постепенно стала привычной, и поле никак не отзывалось на этот звук.

«Бом-м...», – только тупая однообразная мука тщетного воспоминания о чем-то ушедшем, но очень дорогом и радостном, жила теперь в нем. Поле старалось, но никак не могло припомнить себя не черным и не распаханным, но каким?

Но ведь что-то же было раньше?

Что-то же непременно было, иначе откуда эта мука воспоминания, это бесконечное стремление разбудить память?

Еще полю от чего-то было по-настоящему тяжело.

Время?

Возраст?

Прошрое? Но оно не помнило ни времени, ни возраста, и что самое страшное, не помнило возраста. Только плут и острые корни кукурузы.

Ах, дуб!

Мертвый великан навалился на него, а поле такое маленькое, что едва может нести на себе этот тяжелый обрубок бывшего исполина.

Дуб... это что-то из прошлого.

Вокруг лежит земля. Она тоже была когда-то полем, и когда над землей носится этот призрак далекого колокольного звона, земля тоже силится представить себя полем.

Быть может, поле и вспомнило бы что-либо, но в небе висела распятая на сухой ветке дуба Ворона, и полю становилось страшно.

Оно было вынуждено все время смотреть на птицу, и время от времени начинало казаться, что оно видит свое отражение в голубом зеркале неба. От этой мысли хотелось стонать и закрыть глаза, но поле стонать не умело и закрывать ему было нечего. Распятая ворона, как страшный рок, висела над ним.

«Бом-м» – глухим колоколом памяти пропел далекий звон.

«Боль!» – отозвалось вдруг на него поле.

«Боль!» Это когда острым плугом режут по живому. Поле было когда-то живым!

Ветер, ломая старую кукурузную чалу, пронесся над полем. Потом стало совсем темно. Поле словно бы закрыло глаза, от этого стало легко и спокойно.

Это ветер сдул со ствола дуба вышитое полотенце, и оно прикрыло маленький живой клочок поля. Сразу же исчезла страшная ворона. Устав от бесконечных бесплодных попыток припомнить что-либо, от тяжелого видения распятой птицы, маленькое поле уснуло под полотенцем.

Беспокойная птичка, хлопотавшая в небе, увидела поле.

– Какое оно красивое, – удивлялась глупая птаха, кружась над полотенцем. – Какое красивое поле! В жизни я никогда не видела таких замечательных цветов! – но пора было кормить своих птенцов и с криками: «Жить всем! Жить всем!», она улетела куда-то ловить мошек.

«Птицы, оказывается, тоже забывают, – думало маленькое поле, засыпая под полотенцем. – Вот эта, например, думает, что поет слова своей песенки правильно. Глупая... А впрочем, откуда ей знать полностью ту чудесную песню?... Ее и на свете-то, наверное, не было, когда на поле приходил старик и говорил собравшимся под ветвями могучего дуба людям: “Поле принадлежит всем!..”»

## ГОЛОС ДАЛЕКОГО РАДИО

### *Рассказ*

Есть такой всем известный, незатейливый фокус, когда ты загадываешь одну из предложенных карт, а потом внимательно следишь, как тасуется колода ловкими руками фокусника. Кажется, что все перепуталось, перемешалось в этих руках, и та единственная твоя карта навсегда затерялась среди других, навсегда пропала в хитро-сплетении и хаосе случайных комбинаций, и, чем быстрее руки тасуют колоду, тем запутанней и беззаконней движение твоей карты, и тем удивительнее итог, в котором она всегда оказывается на поверхности колоды, неизменно всплывает из глубины перетасованных случайностей, и когда фокусник небрежно бросает колоду на пол, задуманную карту уже не приходится искать в пестром разномастном хаосе — она выпадает отдельно, как бы независимо от других, подчиняясь своему закону или простому арифметическому правилу: «От перемены мест слагаемых сумма не меняется».

Случай или закономерность движут миром? Случай или судьба складываются в цепь событий?

А какая, собственно, разница тебе, наблюдающему со стороны? Случай... закономерность... ловкость рук.

Я хорошо помню, как отец мой рубил акации за домом. Почему я запомнил этот день? Из детства с нами остаются

только самые яркие, самые крупные события, самые большие потрясения. Может быть, от того, что тот весенний день был празднично ярок и светел? И отец мой был молод и красив. Закатав рукава белой рубахи, он рубил деревья и улыбался мне, словно, кроме этой видимой работы, выполнял еще какую-то тайную, незаметную, и улыбкой передавал мне непонятный, скрытый смысл ее. Он только успевал тыльной стороной ладони утирать пот со лба, быстро, ловко, не нарушая ритма ударов.

...Яркое солнце, бронзовое от загара лицо отца, блеск разогретого солнцем и работой топора, и ярко зеленая крона, падающей под топором акации, с покорным шелестом скользящая по кроне другой, еще живой акации, зеленой свечой возвышающейся рядом. Гибкие, беспомощные ветви умирающего дерева прощаются с ветвями живыми, и от их соприкосновения, как последние слезы, сыпется на землю белый дождь оборванных цветов.

При этом слезы я придумал не сейчас. Это тоже из детства. Это могло родиться только там, далеко от сегодняшнего дня, когда мы, мальчишки, еще сами могли плакать по срубленным деревьям.

Под топором падали акации моего детства.

Во дворе нашего дома рос вековой орех, под которым я сидел в знойные полдни, у акации старая виноградная лоза обнимала потрескавшийся от времени ствол хурмы. По одиночке они, наверное, уже давно бы вымерли, но вместе эти два замшелых старика еще стояли под ветром и дождем, и даже выжимали из себя по осени урожай. Потом лоза умерла, следом за ней через год или два погибла и хурма, их срубили, и беззвездным зимним вечером я принес к бухару охапку дров, среди которых были обрубок ствола хурмы и вросшая в него лоза — все, что осталось от долгой жизни двух деревьев. Когда я вспоминаю детство, то в памяти среди прочего всплывает и старая хурма, без усталости держав-



шая на своих плечах лозу, и вечер, когда они горели в одном бухаре, в одном огне, рядом, навсегда вцепившись друг в друга, Я вспоминаю их без всякой связи с самим собой, со своим прошлым, словно бы отдельную чужую жизнь, даже две жизни.

Акации всегда вызывают во мне воспоминания детства. Белая акация распускается, когда отцветают уже почти все деревья в саду. Распускается как-то вдруг, появляясь неожиданно открытой, незащищенной своей белизной среди молодой, еще непрокаленной настойчивым абхазским солнцем зелени. Появляется, как бы заявляя всем: «Я последнее напоминание о весне, о молодости, о цветении. Потом будет пыль, зной и духота лета, будет осень, такая же яркая и утомительная, потом нудная дождливая зима. Уже так далеко – до нового цветения».

На душистые гроздья акации набрасывались мальчишки. Пчелы степенно облетали цветок за цветком, до дна выбирая из белых бокалов ароматный нектар, раздвигая мохнатыми тельцами упругие лепестки венчиков. Мальчишки до сути благоухания не докапывались, они обдирали белые соцветия полностью и горстями отправляли в рот.

У сельских мальчишек не так часто бывают новые развлечения, В тот день мы сидели на ветвях старой акации и смотрели, как мужчины роют по селу ямы. Никто не сговаривался между собой о теме разговора, она родилась сама по себе.

– Как думаете, зачем роют?

– Вот бы спросить?

– Да-а, спросить бы... – но приставать с праздными вопросами к старшим, занятым делом, у нас не принято.

– Да-а, спросить бы...

– Сажать, наверное, что-то будут.

– Наверное.

– Интересно только, что именно.

- Вечером у брата узнаю.
- Так-то ведь вечером еще будет. Вечером я тоже у отца спрошу. А до вечера еще голову в догадках сломаешь.
- Деревья сажать будут.
- Ясное дело, что не кукурузу.
- Деревья, точно деревья.
- Кто же их сажает в такое время?
- А ты думаешь, что они каштан или орех здесь сажать станут? Это должно быть какие-то необыкновенные деревья, с пышными раскидистыми кронами и большими цепкими корнями. И чтобы они не мешали друг другу, когда вырастут, ямы роют на большом расстоянии.

Никто из мальчишек не стал спорить с этим просто потому, что ничего достовернее придумать было невозможно. Я бежал домой под полуденным солнцем и думал, зачем нашему селу эти необыкновенные деревья, если оно и без них самое красивое село в Абхазии, а какие нужно деревья у нас по дорогам вырастут сами.

Во дворе отец рубил акации. Блеск солнца на металле топора, загадочную улыбку на лице отца, падающие деревья и белый дождь оборванных цветов я увидел именно тогда. Помню, как топором он очищал стволы деревьев от веток, и обрубленные сучья сносил в одну кучу. На земле, прямо у моих ног, лежал целый ворох нежных, зеленых листьев и источающих в полуденном зное тонкий пьянящий аромат крупных белых цветков. Пчелиный рой с гулом носился над срубленной акацией, стараясь, видно, не упустить сладкую добычу, а мне доступных гроздьев обрывать совсем не хотелось. Я молча смотрел, как умирают на жаре белые цветы. С соседнего двора доносился стук топора, там тоже рубили деревья, и подсознательно я даже догадывался, что все это имеет какую-то связь с ямами на дороге, и от этого упавших деревьев становилось еще жальче.

«Почему? – думал я. – Почему же, чтобы посадить какие-то необыкновенные, никому неизвестные великаны, нужно обязательно срубить добрые наши акации?»

Стоит, однако, справедливости ради сказать, что акации пользовались такой особенной любовью не всегда, а лишь по весне, когда распускались на них белые цветы, и мы карабкались на деревья, презирая даже безжалостные острые колючки, глубоко и больно царапавшие до крови тело и оставлявшие надолго незаживающие борозды на руках и ногах. В остальное же время года мы собирались на старом ничейном инжире, росшем на дороге. Инжир этот, кроме спелых плодов, имел несколько преимуществ перед акацией: во-первых, у него были широкие плотные листья, шатром смыкающиеся над удобными для сиденья мощными сучьями, а во-вторых, у него не было тех коварных колючек. Так долго и подробно я говорю об инжире, чтобы дать почувствовать вам силу разочарования и удивления, охвативших нас в день, когда мы решили с акаций переселиться на наш инжир. Могучее дерево предстало перед нами жалким уродливым обрубком, словно бы уже в конце ему захотелось сбросить вдруг, листья, но не рассчитав, оно сбросило и ветки, которые теперь пышными грудями лежали на земле. Беда нашего инжира была в том, что он вырос на том месте, где в ряд с ним стояли голые стволы акаций, словно это была какая-то эпидемия обнаженности, или, еще лучше сказать, – наготы, постигшая и шикарную крону инжира, которая смотрелась бы, наверное, не так уродливо, не осталась от его былой красоты одна единственная нетронутая топором ветвь. Обрубленный и искалеченный со всех сторон, он словно бы протягивал во двор стоявшего рядом дома одну единственную уцелевшую ветвь-руку, словно выпрашивая у людей милости не быть срубленным вовсе.

Ставший жалким уродцем, инжир этот теперь не мог служить нам убежищем и укрытием от родительских глаз,

но мы все равно почему-то взобрались в тот день на него. Потом я не раз еще видел сиротливое зрелище неумело подстриженных городских деревьев, но первым безжалостно изуродованным деревом для меня стал наш инжир.

Взобравшись на единственную уцелевшую его ветку, мы как бы приблизились к верхушкам стволов акаций, увенчанных уже непонятного назначения предметами, делавшие их похожими на какие-то урбанизированные, авангардистские деревья.

– Что это на них за рога железные приделали?

– Торчат в разные стороны, как обрубки сучьев.

– А на рогах школьные чернильницы.

В школе мы писали тогда перьевыми ручками, и неизменным атрибутом на каждой школьной парте были тяжелые белые чернильницы, которые нарочно делались такими громоздкими, с мудрым расчетом на наши непоседливые натуры. Смахнуть ее случайным движением было просто невозможно, и с наклоненной парты она тоже не падала, а просто сползала тяжелым оползнем на пол, не переворачиваясь.

– А еще я видел, как вчера стволы поливали водой.

– Как это?

– А очень просто: два ведра на землю под каждый столб выливают, а потом землю утаптывают, как под саженцем, когда сад закладывают.

Дружный наш хохот потряс единственную уцелевшую инжирную ветвь.

– Про-рос-ли!

– Точно, за ночь железяками проросли и чернильницами распустились.

– Да нет же, нет! Рога с чернильницами на них еще на земле, в лежащем положении прикрутили!

Всей этой работой в селе руководил Тат – наш односельчанин. Несколько месяцев он где-то отсутствовал, говорят, что

уезжал в город учиться, хотя мы сейчас сильно сомневались в достоверности этих разговоров, потому что когда кто-то из односельчан уезжал учиться, то возвращался не очень скоро. Те, например, что уехали на нашей памяти, еще учились, а те, что вернулись в село прошлым летом, уезжали, видно, так давно, что мы их и не помнили даже. И были они все с хорошими, уважаемыми профессиями, как, например, наша молодая учительница Тина Махазовна, сельский врач Алмас и агроном Даур.

Тат же вернулся с мотком проволоки на плече, весь перепоясанный какими-то ремнями и цепями, да еще руководил непонятной какой-то работой.

Тат был хорошим, добрым парнем, но теперь ходил по селу с таким неприступным видом, что мы не решались даже спросить у него о происходящем.

Поскрипывая ремнями и позвякивая цепью на поясе в такт шагам, Тат прошел мимо нашего инжира и даже не поднял головы.

Остановившись у ближайшего дерева, он сбросил на землю моток проволоки и стал сосредоточенно рыться в ящике с инструментами, выбирая из него самые необходимые и перекладывая их в холщевую сумку, переброшенную через плечо.

С высоты нашего дерева наблюдать за ним было неудобно и не видно, какие именно инструменты он отбирает для себя, но, когда из ящика он достал большие когти, похожие на когти коршуна или кошки, прицепил их на ботинки, и, ловко цепляясь за столб, стал подниматься вверх, мы мигом поспрыгивали с инжира на землю и побежали к нему.

Было видно, как Тат прикручивал к «чернильницам» проволоку, проверял крепость железных «рогов», сами чернильницы заменял одну на другую. А одну из «чернильниц» Тат открутил и бросил на землю. Она упала к нашим ногам, но, распираемые самолюбием, мы, конечно же, нагигаться

за ней при Тате не стали, хотя каждый из нас по отдельности крепко зацепил эту штуковину, втайне надеясь, что все остальные забудут про нее, а потом он заберет эту отличную вещь, которую у любого сельского мальчишки можно будет обменять на хорошую рогатку, или еще выгоднее, на штаны, Тат, бросивший нам «чернильницу», как бы сам сделал первый шаг к сближению, и кто-то из нас, не выдержав высокого напряжения неизвестности, спросил:

– Тат, что ты там делаешь?

– Я соединяю вас с Тбилиси и Москвой, – ответил Тат громко, и, как нам показалось, сверху вниз, что, в общем-то, вполне было оправдано его положением, и поэтому мы не обиделись. Главной была долгожданная ясность, которую мы, наконец-то, получили: два провода тянулись от столба к столбу через все село, за его окраину, а там уходили еще дальше – один в Тбилиси, а другой, видимо, в Москву.

Вопросов больше никто не задавал.

Связать с Тбилиси и Москвой Тат захотел, видно, каждый дом, и от столбов по селу потянулась паутина проводов. Наш каштановый дом оказался изнутри весь опутан проводами, словно привязан к главному проводу, что тянулся через все село. На столбе, прочной каштановой колонной подпиравшем крышу, как раз на том самом месте, где много лет у нас красовались огромные ветвистые рога тура, глядя на которые, старые охотники горестно приговаривали: «Эх, не тот тур сейчас пошел. Не тот, поизмельчал уж очень!», на том самом месте висели теперь железные, тонкие и замысловатые, словно только что спустившиеся с голых ветвей акации рога. Вообще-то рога во всевозможных разновидностях сопровождали хорошее дело, что задумал Тат, и даже из вновь образовавшейся в стене круглой дыры рогами выглядывали два проводка, оканчивающиеся ничем, хотя при желании их можно было определить и как усы гигантского, застрявшего в стене таракана.

На этом, собственно, дело и закончилось: столбов больше никто не ставил. Тат больше к нам домой не приходил, он вообще пропадал теперь в городе, и в село наведывался лишь изредка.

На каштановую опору мой дед снова водрузил рога тура, хотя железные, на всякий случай тоже снимать не стал, и мы уже подумали, что хорошее дело не получилось: село наше большое, но от Тбилиси далеко, а от Москвы еще дальше. До Москвы из наших селян только председатель колхоза доезжал, и у Тата, наверное, не хватило провода, чтобы связать нас с этим городом.

Лето уже клонилось к закату, прежде, чем Тат снова появился в нашем доме. К сиротливо торчащим из стены «усикам» он прикрепил странный предмет, внешне здорово напоминавший круглую лейку, которой в наших краях разливают обычно вино, и названную им «репродуктором». Репродукторов у него за спиной была еще целая связка. Тат торопился к нашим соседям, у которых в стене все лето зияла такая же дыра. Мы смотрели ему в след, словно ожидая еще чего-то, и он вдруг и на самом деле обернулся и сказал самое главное:

– В воскресенье в десять часов слушайте. Заговорит.

В воскресенье, еще задолго до названного Татом часа, в большой комнате собралась вся наша семья, многочисленные родственники. Репродуктор был, конечно, в каждом доме, но такова уж психология моего народа: все радостные события встречают они вместе, сообща, советом решают важные дела и вместе разделяют горе родного. В том, что ожидаемое событие важное в их сельской жизни, а может быть, и не только в сельской, не сомневался никто, и дома в такой день оставаться, конечно же, никому не хотелось, а в некоторых дворах по этому случаю были накрыты даже столы. Но все мы, даже, наверное, Тат, который находился с нами, никто понятия не имел, как этот репродуктор заговорит, и что именно скажет. Да и как вообще можно гово-

рить с людьми, которых не видишь и не слышишь? В суждениях были осторожны, больше слушали стариков, одетых, как и полагается, на больших собраниях, в национальные одежды. Старики говорили о давних временах, о важных вехах нашего народа, к которым они сами так или иначе были причастны и которые проходили на их длинном веку. И все уже как бы даже забыли про репродуктор и только в перерывах между рассказами кто-нибудь спрашивал у Тата, долго ли еще ждать, и тогда Тат, не спеша поддегивая рукав рубахи, смотрел на часы. Потом он обязательно еще что-то подкручивал в часах, и, забыв опустить рукав, клал, руку на колени, И все некоторое время смотрели, как сам собой опускается рукав его рубахи, закрывая часы. Часы эти Тат купил в городе. Забава эта была довольно дорогая по нашим доходам, и очень редкая в селе. Тат потратил на нее почти все деньги, что колхоз выделил ему на обучение. Кроме часов, он привез из города еще фотографию, на которой он сам, очень важный, словно в предчувствии того великого дела, которое ему предстоит еще свершить в родном селе, заложив за ремень руку при часах, как бы показывает всем: вот, мол, пришло время больших перемен. Объяснял же он назначение фотографии очень практично: «Вот часы потеряются, не дай бог, или украдет кто, а фотография останется навсегда». Теперь, когда кто-то из наших парней ездил по делам в город, то просил Тата на время часы, которые он отдавал всегда с большим неудовольствием, умоляя ничего не трогать в них. Таким, образом, часы останавливались всегда в одно и тоже время, и почти на всех фотографиях, что наши парни привозили домой, они показывали одно и то же время.

Зачем людям нужны были чужие часы?

Никто же ведь не знал, что придет время, и часы будут у каждого, и даже не одни, и надеялись, что скоро все забудут, что это не их часы, а фотография останется.



Такая степень вранья сельской этикой допускалась.

Момент, когда репродуктор, наконец, заговорил, хотя и был всеми ожидаем, но наступил все равно как-то неожиданно. Точно в назначенное время в нем раздались скрипы, свисты и шипения, а вслед за ними прозвучал четкий мужской голос.

– Здравствуйте, дорогие товарищи! – сказал невидимый человек.

Хорошо по-русски у нас понимали только дети, учившие язык в школе, но смысл приветственной фразы понятен был всем, как понятны без перевода добро и уважение, и поэтому все присутствующие, как это и полагается по нашему обычаю, встали, отвечая на приветствие. Сначала говорили из Москвы, а потом из Тбилиси. Передача продолжалась не больше получаса, и люди полностью выслушали ее стоя, а когда репродуктор замолчал, все зааплодировали. Вообще-то, после речей у нас аплодировать не принято, но в Тбилиси и Москве ораторов было принято встречать именно так, и из уважения к говорившим в репродукторе люди зааплодировали коротко, но дружно. После некоторого перерыва послышалась музыка, и все решили, что долг уважения говорящим отдан и уже можно сесть.

Сложный язык фраз, которым излагались новости, был непонятен детям, а тем более всем остальным, знавшим язык еще хуже, но и в смысл сказанного как-то особенно не вникали: важен был сам факт — оно заговорило. Заговорило радио – так плавно и необычно назвал Тат Лейку. Теперь Тат снова сидел среди нас с важным и гордым видом, словно это он сам сейчас держал перед людьми речь. Наверное, он был счастлив в эти минуты больше всех остальных, потому что радовался за свое дело, за то, что получилось все так, как задумывалось.

– Завтра с утра буду делать обход линии, – сказал он, как бы подводя итог всему делу.

Теперь все ждали, что скажет наш дедушка – самый старший и уважаемый человек в нашей ахабле. Но дедушка почему-то молчал, молчали и все мы. Вдруг дед глазами сделал мне знак подойти поближе и спросил: «А где они сидят?» – имея в виду дикторов, женщину и мужчину, чьи голоса мы только что слышали по радио.

Отвечать на этот вопрос я не мог, и на помощь пришел Тат, который точно знал, кого соединял с нами.

– Он – в Тбилиси, а она – в Москве.

На это дедушка ничего не ответил. Он только покашлял немного, как это делают старики, когда слегка сердятся, и каждый из нас подумал тогда приблизительно одно и тоже: «Хорошо все-таки, сделали в Тбилиси, что дали держать слово перед людьми мужчине».

Потом дедушка спросил у Тата:

– А что, на абхазском языке оно говорить может?

– Скоро будет говорить и на абхазском, – ответил Тат, и мы тогда подумали, что он теперь станет тянуть третий провод от Сухума.

Радио быстро вошло в нашу жизнь как неотъемлемая часть. Праздничная одежда сменилась на будничную, уже никто не аплодировал речам, а два языка, на которых оно вещало, по-прежнему оставались малопонятными.

Меня же больше всего радовала музыка. Она большими, сочными волнами захлестывала комнату, заполняла каждый ее уголок. Ее было так много и была она столь необычна, что сердце замирало в радости и предчувствии чего-то большого и таинственного, что должно свершаться под эти мелодии. Как зачарованный, смотрел я на репродуктор, стараясь представить чудесный сказочный мир, в котором рождалась и жила такая музыка. Тогда эта диковинная музыка и детская душа сливались воедино, и тысяча восторженных настроений расцветали и гасли во мне, сменяясь необъяснимой печалью и тоской. И даже эта тоска была уже

счастьем, слушать и слышать музыку, и хотелось убежать в дальний угол сада, зарыться с головой в траву и ничего, совсем ничего не видеть и не слышать, кроме этой музыки,

Однажды во время большого застолья в нашем доме, кто-то включил радио, и оттуда послышался одинокий мужской голос, тянущий свою горестную, неразделенную песню. Гости, слушавшие поначалу радио, все ждали, что сейчас песню эту подхватят другие голоса, и тогда она сделается сильной и красивой, но мужчину того не поддержали, и тянул он свою песню один и от этого казалась она очень жалобной. Так мог петь только очень несчастный человек, оставленный всеми или вынужденный веселиться в одиночестве.

Сколько могло исполняться это страдание, я не знаю, потому что радио быстро выключили, и, когда в доме стало совсем тихо, кто-то из гостей запел старинную застольную песню. Его немедленно поддержали другие голоса, и вот уже многоголосый хор зазвучал широко и красиво, как поют у нас в Абхазии, вкладывая в песню душу народа и его любовь. А в него вливались все новые и новые голоса и, казалось, что уже никакая сила не в состоянии остановить или хотя бы на мгновение прервать эту простую народную песню.

Прошло уже много времени с того памятного дня, как впервые заговорило в нашем селе радио, а Тат и не думал протягивать третий провод от Сухума. Вообще времена его активной деятельности уже закончились, и теперь его чаще можно было видеть на поле с мотыгой в руках, чем на линии с инструментами. Но однажды он снова появился в нашем доме в полном своем монтерском снаряжении, с видом заботливого врача осмотрел со всех сторон наш репродуктор и сказал:

– Завтра утром слушайте голос радио из Сухума.

Опять в нашем доме собрались люди, и старики одели свои черкески. Тат еще раз проверил репродуктор, чтобы

заранее предупредить помехи, и в указанное время чистый мужской голос произнес на родном языке:

– Мшибзия!

Слово это можно перевести на русский язык как «здравствуйте», но тогда перевод будет лишать его всей полноты пожеланий, которое абхазцы вкладывают в приветствие, пожелания здоровья, а еще любви, красоты и добра и еще всего самого светлого на земле. Язык, на котором велась передача, был с детства знаком и понятен каждому из нас, но сейчас он словно бы наполнился особенно гордым и мелодичным звучанием, и нам казалось, что в эти минуты весь мир слушает радио на нашем языке и радуется вместе с нами.

Передача была небольшой – диктор поздравил всех нас с радостным событием в жизни республики, перечисляя города и крупные села Абхазии, в которых сейчас люди слушают радио на родном языке, потом еще пел мужской хор, и наши мужчины пели вместе с ним, и мне казалось, что наш край огромен, что простирается он, по крайней мере, на пол мира, и что началась в нем какая-то новая жизнь.

Конечно же, все ожидали, что скажет дедушка.

– Я прожил большую жизнь, – начал старик, когда передача окончилась, – я видел войны, победы, большой снег и еще много другого, что хватило бы не на одну жизнь, но пришел день, когда мой маленький народ получил вдруг такой громкий гордый голос. Нет, конечно же он имел его всегда, но сегодня его может слышать весь мир. Далеко за пределами нашего края разносится теперь абхазское слово. Я стар, но сегодня, как никогда не хочется говорить о закате жизни, потому, наверное, что сама жизнь восходит теперь новым утром.

Передачи из Сухума выходили в эфир регулярно, хотя и были непродолжительными. Прошло уже больше месяца, как радио, впервые заговорило на абхазском языке, но не-

смотря на это, мой дедушка, как и в первый день, продолжал слушать передачи стоя.

Новости, доносимые к нам репродуктором, сравнивались в селе по важности с нашими внутренними новостями, и радио стало своеобразным мерилom правды. Ему верили, его слушали, к нему прислушивались и, если в простых житейских спорах нужно было привести всякое доказательство правды, то достаточно было сказать: «Я слышал это по радио», – и других аргументов уж не требовалось.

Радио вошло в нашу жизнь, как большое открытое окно в мир, как дорога, ведущая в жизнь других людей, как великий: переводчик самых добрых человеческих замыслов, как истина последней инстанции. Мы радовались вместе с людьми, далекими и незнакомыми нам, мы переживали их трудности и неудачи. Следует, однако, сказать, что новости, приносимые репродуктором, просто так, слепо, на веру не принимались, а активно много обсуждались, словно примерялись к нашей сельской жизни, к нашим законам и устоям, но, как правило, все разговоры оканчивались одинаково: «Правильно говорят!» – заключал кто-нибудь из старших, и была от этой правоты какая-то радость в людях.

И вот по радио вдруг заговорили о том, что у нас в Абхазии много необжитых мест, что республике не хватает рабочих рук, чтобы обрабатывать всю свободную землю. Теперь в наш край, говорил диктор, приедут жить и трудиться новые люди.

Сначала обсуждению в народе подверглась первая часть новости, относительно свободных земель. Собравшиеся вечером в нашем доме мужчины высказались приблизительно так: «Может быть где-то в других селах действительно земли пустуют, но в нашем селе ею распоряжаются по-хозяйски и со знанием дела». Потом после долгих разговоров пришли к выводу, что необжитой землей диктор посчитал всю нераспаханную под поле землю. Такая действительно имелась,

но на ней или рос девственный лес, почитаемый в Абхазии с давних времен, или расстилались обширные пастбища, столь необходимые для домашнего скота, что, однако, не давало права называть эту землю неосвоенной, потому как она давно уже была обжита и освоена козами, которые в немалом количестве держались в каждом абхазском доме. Выводы по второй части передачи не вызывали таких бурных обсуждений, У нас гостям всегда рады, а если рядом будут жить и трудиться добрые люди, то ничего плохого в этом не будет. Так решили наши старики.

Прошло немного времени, и в наше село приехали новые жители. Один за другим рядом с нашими домами вырастали одноэтажные трехкомнатные домики на сваях, похожие друг на друга, как близнецы.

Радио подробно рассказывало, как застраивалась такими домами наша Абхазия. Кутол, Лыхны, Ачандара, Члоу — эти самые крупные и красивые наши села теперь принимали новых поселенцев. Улица-новостройка в селе возникла прямо вдоль линии радиопередач, поэтому, наверное, радио и уделяло ей столько времени. Репродуктор приносил в село новости, но теперь как-то не полностью, словно не договаривал чего-то, часто ошибался, и обсуждению у сельчан теперь чаще подвергались именно эти ошибки, а не правдивые высказывания. Кроме того, во время сухумских передач часто случались шумы, трески, шипения, а иногда провалы в вещании на целую передачу. Тат ломал голову над тем, как избавиться от помех, но ничего придумать не мог, помехи только множились, и стоило устранить поломку в одном месте, как она возникала в другом. Тогда он призвал к себе на помощь мальчишек. Тат раздал нам по большой ветке белой акации и попросил пройти вдоль всей линии, заглянуть в каждый дом и осмотреть внимательно, не перепутались ли случайно где-нибудь два провода между собой, а если так действительно случалось, то немедленно самим

устранить неполадку или позвать его самого. Работа была нетрудной и даже очень занятой для нас. Мы ходили по дворам с высоченными акациевыми ветками в руках и распутывали провода. Ходить же по новым дворам было действительно очень интересно. Люди там жили совсем не так, как привыкли жить мы: дворы их напоминали место приземления семейного десанта, были совсем не ухожены и не обжиты. Повсюду лежали все еще не распакованные вещи переселенцев, пахло незнакомой пищей.

Обживаться, как видно, никто не торопился, существовали вообще, как по инерции, женщины больше молчали и с похоронным видом носили через двор дымящиеся котелки с едой, равнодушно переступая через тюки и узлы во дворе, мужчины так же хмуро и молча поглощали еду, дети почему-то все время плакали, кажется, за тех и других, и еще за себя, потому что им и от тех, и от других часто доставались шлепки и затрещины. А еще от того похода мне запомнились не прикопанные саженцы. Переселенцам всячески помогали обжиться: кто мешком муки, кто фруктами, кто миской фасоли, а колхоз выделил им саженцы для сада. Так вот эти-то саженцы мне и запомнились с тех пор, как что-то жалкое и заброшенное. Уже почти высохшие, истончившиеся на солнце корни их безжизненно обвисали, и пожухлая листва, оборванная ветром, кружила по двору, а былиночки хурмы, яблони и алычи никто не собирался прикапывать, никто, видно, не собирался разбивать здесь сады.

Несмотря на то, что Тат изо всех сил старался наладить трансляцию сухумского радио, в один из дней голос радио и вовсе умолк. Сначала все терпеливо ждали, когда же восстановится в эфире справедливость, а потом уже перестали ждать, словно предчувствуя, что умолкло оно теперь надолго. Ходили слухи, что беда заключается в том, что поленились когда-то протянуть отдельный провод для Сухума, а стали передавать по старому тбилисскому.

Так прошла весна, прошло лето, осенью мы снова пошли в школу. Обычно за лето мы успевали хорошенько отвыкнуть от занятий, и нам казалось, что школы летом как бы не существует. В это лето приблизительно так и случилось; нашу школу закрыли, а нас перевели в другую, наскоро выстроенную для наших переселенцев. Для нас там все было странно и непривычно: новые учителя, новые учебники, новые порядки. Хуже всего было то, что нам запретили говорить и писать на родном языке. Особым прилежанием я никогда не отличался, а новый год и вовсе охладил мою слабую тягу к знаниям. Я почти ничего не понимал на чуждом языке и постепенно в тайне от домашних стал прогуливать занятия. Припрятав у реки удочку, утром я брал портфель с книгами и шел в заросли камыша. Так я просиживал полдня прячась от случайных глаз прохожих. К полдню, наловив рыбы, разводил костер, и к возвращению из школы моих одноклассников запекал в углях улов. С удовольствием поедая рыбу, мальчишки рассказывали мне о школьных делах и новостях, и приходя домой, я коротко, на ходу рассказывал все это дедушке, который очень интересовался моим образованием.

Когда наш новый учитель Мигона вспоминал, наконец, обо мне, друзья передавали мне его беспокойство, и я два-три дня без всякого интереса, как тяжкую повинность, отсиживал в классе, считая мух на потолке абхазским счетом, а потом снова возвращался на реку.

В общем, отношения мои со школой складывались, можно сказать, никак, но еще хуже они получались у моего деда. Дед любил время от времени повторять мне, что абхаз, если нужно выучить ребенка, дом продаст, и что я несколько не уважаю его доброго имени, получая такие плохие оценки. Всех тонкостей школьных преобразований старик не знал, и хотя он ругал время от времени приезжих учителей с их порядками, но больше всех, конечно, доставалось мне за неприлежание.



Сами переселенцы, да и другие учителя, нашего Мигону недолюбливали, поговаривали даже, что там у себя на родине он вовсе никаким учителем не был, а работал бухгалтером в каком-то отстающем колхозе. В нашей же школе он вел грузинский язык и математику, естественно, на грузинском языке.

В один из тех редких дней, когда я сел за уроки, в комнату вошел дед, Я уже говорил, что он очень интересовался моим образованием, так вот, старик, сел на стул у окна к стал слушать, как я, спотыкаясь на каждой фразе, учил свой урок. Посидев так некоторое время, он подошел к столу и стал зачем-то перелистывать мои учебники. Дедушка совсем не умел читать, но книги мои просматривал придирчиво и внимательно, а потом разложил их на столе, а ряд передо мной и спросил:

– А которая здесь на родном языке?

– У нас нет «Родного языка», – тихо ответил ему я, все ниже опуская голову, словно был виноват в этом. Я подумал, что меня снова станут ругать за неприлежание, и вообще, быть может, мой мудрый дед уже успел прознать о моих прогулах, и тогда меня не ожидает ничего хорошего. Чтобы защитить себя хоть как-то, я в оправдание взял и рассказал ему всю правду о нашей школе, о том, что я совсем не понимаю уроков на грузинском языке, что на абхазском нам запрещено говорить даже на переменах, что счетовод Мигона ходит по классу с длинной указкой и бьет ею по голове буквально за все: за то, что повернулся к соседу, за то, что полез в портфель и еще за каждое слово на абхазском языке.

Дед ругать меня не стал, он молча ушел в свою комнату и просидел там почти до вечера. Вечером он, переодетый в черкеску, так же молча вышел из дома, и пошел, как я понял, в сторону школы.

Несмотря на почтенный свой возраст, дедушка сохранил почти юношескую фигуру, и одетый в национальную

форму, да еще перепоясанный тонким серебряным поясом, выглядел очень молодо. Умудренное опытом прожитых лет, лицо его, однако внушало глубокое почтение и уважение. Вообще, дед мои прожил большую жизнь, объездил весь Кавказ, много людей видел и знал, много пережил перемен, но никакого языка, кроме своего родного, не знал.

Тот, кто видел, как беседовали старик и Мигона во дворе учительского дома, говорили, что дедушка долго и очень спокойно объяснял Мигоне, что то на единственном языке, который знал, но учитель, видно, ничего не понял, потому что стал жестикулировать перед лицом уважаемого человека, которого даже не пригласил в дом, а потом, наступая на него всем телом, даже попытался подтолкнуть к калитке. Мой дед взялся за кинжал.

Мигона пустился в бега через весь двор, и больше в школе мы его не видели. Его и раньше откровенно недолюбливали люди, а после случая со стариком, ему и вовсе нечего было делать в нашем селе.

Изгнав Мигону, дедушка, однако, школьных порядков не изменил. В школе все осталось по-прежнему. С того дня прошло уже немало дней, я продолжал кое-как ходить в школу, но дед больше в мое образование не вмешивался.

Однажды вечером он позвал меня в свою комнату, где на столе стояла моя чернильница и были разложены листы чистой бумаги, и стал диктовать мне письмо. Я писал на почти забытом родном языке послание, в котором старик объяснял кому-то, что в селе очень нужны радио и газета на родном языке, что детям необходима своя школа, где их учили бы на родном языке, что нужно выгнать всех учителей, подобных Мигоне.

Письмо я запечатал в конверт, который дедушка отнес в правление колхоза, где ему написали адрес.

Прошла осень и зима, закончился этот злополучный учебный год, начался следующий, а в школе ничего не из-

менилось, и наше радио по-прежнему продолжало молчать. Тат в нашем селе был единственным специалистом по радио, и было время, когда гордость за любимое дело освещало его лицо счастливой улыбкой, но теперь он, кажется, охладел ко всему. Время от времени он еще брал в руки инструмент и шел вдоль главной линии по селу, шел медленно, хмуро, словно его насильно заставляли делать это давно уже неинтересное и бесполезное дело. Пройдя вдоль всей линии, он садился на большой камень, подпиравший столб, и сидел там до темноты. О чем он думал? Наверное, вспоминал, как налаживал здесь дело, как радовались передачам его односельчане. Первое время люди еще спрашивали у него, почему все так произошло, а он и сам не знал ничего. Сколько времени уже прошло с тех пор, как замолчало сухумское радио, а он в тайной надежде на лучшие времена изредка делал обход своих владений, правда, старался теперь выбирать для этого самое безлюдное время дня, потому что от безнадёжных взглядов односельчан становилось ему тоскливо и неуютно на душе, и начинал он чувствовать какую-то несуществующую свою вину в происходящем.

Жизнь, однако, шла своим чередом. Переселенцы наши к этому времени совсем обжились. Поначалу они все пели одну печальную песню, в которой тосковали о родных местах, и ругали одного человека, насильно заставившего их оставить могилы предков и переехать в Абхазию, но постепенно, как крепили их хозяйства и богатели со временем их семьи на нашей плодородной земле, гнев их на того человека перерос как-то сам собой в благодарность, и горестные свои песни они поменяли на радостные, в которых тот же человек почитался уже как родственник-покровитель.

Он в наше село никогда не приезжал, но лицо его было всем хорошо знакомо, потому что не проходило и дня, чтобы газета, не приносила в дом большого или маленького его портрета. Крупное лицо в круглых очках смотрело на

нас со страниц учебников и со стен нашего дома. Нет, никто, конечно, не думал украшать свои дома его портретами, но из-за большого дефицита обоев в то время приходилось оклеивать стены газетами. Страницы намазывались густым кукурузным клеем и приклеивались на стену, а поскольку целью этой процедуры было закрыть многочисленные дыры и щели, чтобы из них не дуло зимой, и в содержание газет уже никто не вдумывался, то получалось само собой, что человек этот смотрел на нас из любых, самых невероятных положений: вкривь и вкось, и даже вверх ногами. Его было, кажется, так много, что на каждого члена нашей многочисленной семьи приходилось сразу по нескольку, и начинало уже казаться, что он просто следит за каждым из нас: не говорим, ли мы слишком громко, не задумываемся ли слишком надолго. Когда по радио про него звучала песня, я всегда смотрел на самый большой его портрет, где все почти пространство занимала его дородная улыбка, и мне казалось, что он слышит эту песнь и поэтому улыбается. Многочисленные его уши будто бы слушали наши слова и мысли, а многочисленные глаза следили за каждым нашим движением. Под неусыпным надзором были и старики, и только что родившиеся младенцы.

Потом портреты этого человека исчезли из газет, и спустя какое-то время все узнали, что герой песен наших переселенцев враг народа, причем не только абхазского, но и всего.

Газеты к тому времени уже стали отставать пузырями и, сдирая их, мы обнаружили этого человека лицом к стенке. Ах, с каким удовольствием мы вырывали из учебников его портреты, правда, без всяких идеологических подоплек, просто потому, что это было разрешено: рвать и резать страницы в книгах! Обычное детское варварство. И только наши переселенцы еще продолжали петь про него грустную песню:

Оба-дели-делия,  
Наш Лаврентий Берия  
Во сырой земле лежит,  
Без него нам плохо жить...

И вот, когда были сожжены последние желтые газетные листы и страницы учебников, и пепел их вместе с зимними дождями ушел навсегда в землю, умер Тат. Смерть эта была нелепой, страшной, несвоевременной какой-то, если какая-то смерть вообще приходит вовремя. Была весна. В этот день, когда снова должно было заговорить наше радио, Тат отправился проверять линию, хотя целую неделю до этого чинил и перебирал ее, буквально по проводку, но он хотел, чтобы радиопередачу на родном языке услышали в каждом доме. Тат взобрался на столб, что стоял на краю села, там, где Тат обычно заканчивал свою работу, и этот старый гнилой столб надломился и обрушился на нашего Тата. Тата нашли только днем, он лежал на земле, раскинув в стороны руки, словно стараясь обнять необъятный мир смотрел в небо широко раскрытыми глазами. Спокойное лицо его освещала непогашенная смертью улыбка, сквозь которую можно было разглядеть печальное удивление: «Почему? Зачем именно сейчас?». Рядом с мертвым Татом в молодой поросли белой акации лежали аккуратные мотки новой проволоки, на которые ветер осыпал нежные белые цветки.

Тата хоронило все село. Сорок дней потом люди не включали радио, чтобы репродуктор не приносил в дом музыки и песен. Сорок дней длилось радиомолчание в память Тата, и тогда нам казалось, что без него радио уже больше никогда не заговорит.

За нашим домом по-прежнему растет акациевая рощица, и в одном месте высокие стволы деревьев частоколом стоят, прижимаясь друг к другу. Я никогда не задавался вопросом, отчего этот частокол так неестественно плотно растет в по-

лудикой роще, но однажды, собирая дрова, наткнулся там на старый истлевший акациевый ствол. Это было одно из тех деревьев, что отец рубил на столбы много лет назад, но оно, видно, не пригодилось тогда и осталось лежать там, где упало.

Белая акация имеет одно замечательное свойство: прерванная жизнь дерева находит себя, прорастая от корня до макушки молодой порослью.

# ПОСЛЕДНЯЯ ЛАНЬ

## *Повесть*

От медленной, непривычно осторожной езды, дорога, ведущая в гору, словно бы сама наваливалась на машину, а колеса с трудом подминали ее под себя. Сереже не терпелось прибавить скорость, и он время от времени поглядывал на отца, сидевшего рядом, из последних сил сдерживая естественную, казалось бы, от рождения жившую в нем жажду быстрой езды. От этого внутреннего напряжения и необходимости все время контролировать себя и держать в напряжении ногу, которая, казалось, сама, совершенно независимо от сознания Сережи и всего его организма, так и норовила с силой нажать на педаль и выдавить скрытую в ней скорость. Внутри все рвалось и клокотало, и душа от неустроенности как будто сама хотела вырваться наружу и бежать впереди машины, нестись как хочется, без дорожных знаков и ограничений, на которые в горах обращают внимание только автотуристы.

«У меня даже грузовик по горам так не ползет», – думал Сережа, тоскливо поглядывая по сторонам. За окном машины, плавно сменяясь, медленно проплывали горные пейзажи, сами собой перерисовывавшиеся друг в друга: скалистые выступы гор, ветхие, разрушенные временем, висячие

мостики и еще леса – леса без конца и края, леса, карабкавшиеся к самым ледникам, сбегавшие на дно ущелий, уходящие далеко, куда-то за перевалы. Впереди искрились снежные головы горных хребтов, а дорога, устремленная прямо в них, обрывалась вдруг на половине пути прямо перед ущельем, как взлетная полоса.

Отец, молча и, как казалось Сереже, почти равнодушно созерцал окрестные красоты. Лишь изредка, словно зацепившись глазами за какую-то ему памятную вежу на дороге – одинокое дерево, водопад, узенькую речушку, – долго провожал ее глазами, как будто жалея, что оставляет ее, теряет на пути.

«Сказал бы хоть что-нибудь, а то молчит, все молчит. Дома молчит, словно и нет его, здесь – думает о своем и тоже молчит. Вот о чем он, интересно, думает сейчас? А мне все равно не понять... Вроде и дорога его не радует совсем. А может, он ехать передумал? Разве спросишь об этом? Сам он ведь никогда не скажет».

Дорога вела все выше и выше в горы, преодолевая километр за километром. Машина, казалось, пробирается в какую-то непролазную глушь, оставляя позади город и последние горные селения, нетронутую красоту лесов и ущелий, в дремучую страну, где не ступала нога человека, и куда прямо с неба упала эта дорога. По ней сейчас медленно катит Сережина машина, разрушая гулом мотора первозданную тишину. Вообще-то, трудно было представить, что дорога эта приведет их в пансионат – огромное современное здание, выстроенное по последним достижениям строительного искусства. Величие, покой и вся эта нетронутость пейзажа, скорее наводила на мысль о том, что они уже давно заблудились в горах, и что скоро дорога эта упрется в гору, и тут же исчезнет, оставив старые Сережины «Жигули», самого Сережу и его отца в этих недрах покоя.



«А что будет, если и вправду случится так: тупик, дороги нет и назад путь потерян? Что, если случится обвал или пойдет небывалый снег, и мы окажемся отрезанными от мира?». Но додумать до конца, что же произойдет, окажись он с отцом один на один, без выхода в мир людей, он так и не успел, отец вдруг сделал жест рукой, и Сережа понял, что ему нужно остановить машину.

– Плохо, отец? – тревожно спросил он, открывая дверцу.

– Нет, что ты! Наоборот, – ответил старик, но почему-то стал выходить из машины. – Очень хорошо, Сережа. Я пройдусь немного, а ты догоняй меня.

Сережа вдруг почему-то подумал, что, наверное, не умеет ездить на машине так медленно, как будет идти по дороге его отец. Нет, может быть и умеет, но никогда не пробовал, и сейчас не сможет. Навалившись грудью на руль, положив голову на руки, он стал смотреть вслед старику, который ни разу не обернувшись, уходил вперед по дороге, опираясь только на свой посох.

«Спешит, может, и сам этого не замечает, а спешит уйти вперед. Знает ведь, что никогда не окликну его, а все равно торопится. Сам, наверное, время для себя отмерил и теперь торопится в нем, в этом времени, хоть шаг лишний сделать, чтобы в машине меньше ехать. А я вот в машине, а все равно от старика отстаю. Отстаю и догоняю, догоняю и отстаю, а в общем-то отстаю безнадежно. Вот новую машину куплю и, наверное, навсегда отстану».

Дверца машины оставалась неприкрытой, и теперь на ходу то распахивалась, и тогда в машине, как в ловушке, застревал ветер, скатившийся с горы где-то там за голубым ущельем, по краю которого шла машина, то почти захлопывалась, запирая Сережу в чреве его старого «Жигули». Прикрывать дверцу он не стал, надеясь, что старик скоро сядет в машину, а отец все шел и шел вперед, словно теперь уже хотел до конца пройти этот путь пешком, опираясь только

на свои ноги и старый, выдавший виды и не одну дорогу, посох.

Перед тем как снова сесть в машину, старик глубоко вдохнул полный запаха гор воздух, осмотрелся по сторонам, будто бы навсегда запирает себя в машине. Уже сев рядом с Сережей, подождал, пока очередной порыв ветра весь залетит в ловушку салона и только тогда захлопнул дверцу, довольный, что поймал этот ветер и теперь до самого пансионата повезет его с собой.

– Хорошо как, Сережа, – сказал он, делая сыну знак рукой, чтобы тот ехал вперед.

– Да-а, – протянул в ответ Сережа, а потом уже заговорил веселее. Здорово они придумали: все путевки на сентябрь месяц отдать ветеранам колхозного труда. – Я узнавал, там еще Баграт будет. Помнишь, первый председатель колхоза под Очамчыра, вам тогда в Москве награды вместе вручали? И еще, наверняка, кто-нибудь знакомый окажется. А я к тебе часто приезжать буду. У нас в гараже рейс есть – продукты в этот пансионат возить – буду у диспетчера на него проситься.

На это отец ничего не ответил, а Сережа поймал себя на мысли, что сейчас старается уговорить старика ехать в этот горный пансионат. Словно отец отказывается, а он почти насильно везет его в горы.

Поначалу старик и вправду от этого отдыха отказался, но даже тогда Сережа не посмел бы уговорить его, а подсознательно, видимо, копил в себе все доводы «за». Потом, спустя уже несколько дней, после первого разговора, старик переспросил, где находится этот пансионат и, совсем неожиданно для сына, вдруг согласился.

«Странное состояние – старость, – думал теперь Сережа, изредка поглядывая на отца. – Есть, наверное, вещи, которые на расстоянии лет просто не могут быть понятны и до собственной старости их ни за что не уяснить, как ни старайся».

– Пансионат наш республиканский, курортники о нем ничего не знают, а путевку туда просто так не достанешь. Место замечательное: горы, воздух, покой... – Сережа осек себя на полуслове. «Отец же в этих местах полжизни провел, мальчишкой еще гонять стада в горы начал, а я ему про природу рассказываю ... Эх!», – ему стало невыносимо стыдно перед стариком. Захотелось, чтобы машина рванулась с места, взлетела вдруг над дорогой, словно это могло унести его от пожирающего душу стыда и сказанной глупости, захотелось, чтобы сама эта дорога кончилась как можно скорее.

«Странное дело, – думал Сережа, налегая на руль и подчиняясь стремлению ноги нажать на педаль. – Странное дело. Мы с отцом вроде в одной машине едем, а словно разными дорогами в пансионат добираемся».

Машина начала набирать скорость. Повороты уводили ее от одного бетонного бордюра к другому, как будто «Жигули» метались в этом ограждении, нарочно ища выход из желоба, за границами которого начиналась пропасть.

– Не торопись, – сказал вдруг отец, поймав в зеркале взгляд сына, время от времени незаметно, как ему казалось, посматривавшего на старика.

\* \* \*

Неторопливый ритм пансионатской жизни подчинялся часам за дверью в просторном бордовом холле, где на мягких ворсистых коврах были расставлены объемные, обитые велюром кресла и диваны. На окнах мягкими фалдами были собраны тяжелые портьеры такого же, как на мебели, велюра.

Попадая в такую обстановку, обычно ловишь себя на мысли о том, что тебе почему-то неловко от того, что ты сам не такой, как все вокруг: немассивный, не бордовый и не велюровый.

Монотонность и неподвижность обстановки скрашивал лишь голубой диск часов, который и диктовал распорядок дня всему пансионату. Часы эти не умели тикать и отсчитывать минуты, как обыкновенные. Они всегда переводили свои стрелки сразу на четверть часа вперед.

Старик не любил садиться в кресло напротив этих часов, он всегда устраивался спиной ко входной двери, думая при этом каждый раз одно и то же: «Тикать не тикают, а скачут как ненормальные... Пускай себе скачут... глаза б мои их не видели».

Если не отрываясь смотреть на стрелки, то целую четверть часа кажется, что время остановилось и никуда больше не движется и что сам ты стал вместе со временем, и что, уцепившись глазами за циферблат усилием своей собственной воли, можно остановить свою жизнь на сколько это нужно. Заполучить, наконец, для себя тот самый желанный момент, когда, просто сидя в кресле, не теряя, не проживая своих минут, ты можешь отдохнуть, перевести усталое дыхание, а потом вместе со стрелками часов начать немедленно двигаться вперед, продолжая медленно отсчитывать свое время. На самом деле стрелки, казалось бы остановленные тобой, вдруг срывались с места и отрезали от твоей жизни целых четверть часа, в которые ты, оказывается, только и успел сделать, что посмотреть на обманчивый голубой циферблат над дверью.

Само собой как-то так получилось, что все старики, отдохавшие в пансионате, начали избегать этого багрового холла, где ноги тонули и путались в ворсе ковров, а тела проваливались в сиденьях диванов и кресел, откуда их потом с трудом можно было вынуть. Часы переводили стрелки, девочка-медсестра приглашала отдыхающих на завтрак, потом на процедуры, затем на обед, после которого прямо из столовой открывала дверь в холл и говорила приветливо:

– Отдыхайте, – указывая при этом рукой на бардовый омут.

Звучало это «отдыхайте» одновременно как приглашение и как обязательная часть пансионатского распорядка между обедом и ужином, и старики поначалу просиживали в объемных креслах до самого вечера, передвигая нарды и чувствуя великую неловкость в давящей пышности бардовой обстановки. Постепенно посещение это потеряло для них значимость и обязательность распорядка. Чтобы не обидеть девочку-медсестру, по-прежнему распахивающую после обеда дверь из столовой в холл, они на некоторое время заходили в это бардовое царство велюрового покоя, но уже не задерживались там надолго, и даже не садились в кресла, а постояв у окна, спешили выйти через столовую во двор пансионата.

\* \* \*

В горах давно уже поселилась осень. Она разбросала желтизну и багрянец по лесам на склонах гор, дни стояли тихие и ясные, прозрачный воздух был полон покоя. От тихого ветра деревья не гнулись и не шумели, а лишь безропотно отдавали земле, свои ослабевшие от осенней старости, листья. По небу тянулись караваны птиц, спешащих с севера к теплу. Природа утратила былую летнюю пышность и, на смену ей пришло строгое очарование изысканных четких линий и просторы форм, тонкое золото красок.

Послеобеденные прогулки старцев с каждым днем становились все продолжительнее. На лесных тропах дышалось широко и свободно. Кончались дорожки, протоптанные толпами отдыхающих, пряталось за вершинами гор белое здание пансионата, а возвращаться в тихую обитель холла старикам не хотелось.

Вот так идешь вперед: осень, зима, потом весна – время стада в горы гнать. В горах время словно и не бежит нику-

да: день-ночь, день-ночь, как маятник на часах, вроде как из стороны в сторону, но на одном месте топчется. Только одни звезды по ночам куда-то движутся. Звезды перепутались, в другие созвездия над головой выстроились, а это значит, пора с летних пастбищ вниз спускать скот. По лесным тропам идешь - ноги в желтой листве утопают, прямо – как сейчас, а это значит – снова осень. Опять вроде маятника какого-то получается: зима-лето, зима-лето. Год за годом в гору со стадами идешь, и вдруг чувствуешь, что каждый подъем все труднее дается, а оглянешься назад... – Что?

– А ты оглянись.

Дорога упиралась в выступ скал, огибая его, переходила в узкую тропу и тянулась по краю обрыва, на дне которого блестящей полоской вилась река. Баграт сделал несколько шагов вперед, приблизился вплотную к скале, обернулся и посмотрел вверх макушек, убегающих по склону деревьев, туда, где прилепилось к горе белое здание пансионата, хорошо видное с высоты. Теперь оно было похоже на огромный корабль, уплывший от суетного, переполненного людьми морского берега высоко в горы и затерявшегося в лесах и вершинах.

– Обернулся?

– Ну, обернулся.

– И что видишь?

– А вот что: красивую жизнь мы прожили, Астана.

– Тогда вперед посмотрим.

– Впереди дорога кончается. Видишь, скала на пути, все равно что могильный камень.

– Как же это так прожили? За скалой ведь еще тропа есть. Значит есть куда идти.

– Иди, не иди, все одно в небо упрешься.

– Это не важно, куда упрешься. Есть тропа, значит иди. По ней, конечно не особенно разгонишься, но идти нужно. Вот иди, чего обратно поворачивать. Пансионат наш – оби-

тель старости, никуда от нас не уплывет, - с этими словами Астана обогнал, стоящего в нерешительности у обрыва, Баграта и первым пошел по тропе.

– А что дальше? – спросил, догоняя его, Баграт.

– Ледник.

– А ты бывал там?

– А откуда, ты думаешь, про ледник знаю? Не по дедовским же рассказам. Я тебе могу сказать, за каким камнем какую горную козу с ружьем выслеживал.

– Астана, а ты зачем сюда приехал? Ты ведь знаешь здесь все?

– Затем и приехал, что все знаю. Посмотреть, проверить еще раз решил, все ли здесь в молодости разглядеть сумел, не упустил ли чего, не потерял ли?

– Ну и что?

– Потерял что-то, наверное.

– Что же?

– Вот коз, например, своих потерял здесь.

– Много?

– Целое стадо.

– Когда?

– Точно даже и сказать не могу, но ведь нет у меня больше коз, и не будет никогда, а сколько их у меня раньше было, сосчитать никто не мог.

– Тоже мне – беда! – Баграт плюнул на тропу с досады.

– Как не беда? Беда, да еще какая! Люди посмотрели, что я – пастух от рождения, награду в Москве за коз получивший, растерял богатство свое и тоже стада побросали. Что от коз осталось? Одни только козы тропы, да присказка у молодых:

«Приезжай ко мне в гости, я в твою честь козу порежу!..

А где она коза-то, я тебя спрашиваю? Мясо только магазинное на стол подают.

– О чем ты, Астана, речь завел? Об этом уже говорили - переговаривали давно. Что жалеть теперь? Меняется все.

– Пускай меняется, лишь бы хуже не становилось, а то козу – на говядину, буйволиное молоко – на коровье, после которого и стакан мыть не нужно, хорошего коня – на машину сменили. Вот и выходит, что все мы потеряли что-то. Я – в горах, ты – в долине.

– Про коня это ты зря сказал, Астана, – в Баграте проснулась председательская жилка.

– Конь-то ведь аккуратно по полю пройдет, разве что травинку помнет какую-нибудь, да и то не погубит, а лишь пригнет слегка, а от колес полосы мертвые остаются, а когда не больно человеку на земле такой след оставить, он и по душам людей потом таким катком пройдет, не остановится.

– А дома-то хоть коня держишь отставной председатель?

– Эх, Астана! Ты всю жизнь по горам ходил, да коз стерег, и тех-то не устерег, а я весь как есть от земли, и про машину эту много хорошего сказать могу. Не то плохо, что сыновья наши с коня на машину пересели, а то, что на скорости этой машиной проскакивают они порой мимо чего-то главного в жизни.

– Разве они первые, кто разогнался и проскочил в жизни главное? Вот хоть меня возьми, к примеру. Как получилось так, что от всей моей жизни среди гор и лесов, от родников, что с детства пил, от воздуха и синего горного неба остался мне теперь этот пансионат, что белеет на склоне? Это была настоящая моя жизнь, без которой я себя и представить не мог, а теперь вроде как на экскурсию, на курорт в нее приехал.

– Что ты меня о твоей жизни спрашиваешь, я про свою-то не все знаю... Ладно, пойдем дальше.

– Куда? На ледник, что ли?

– А хоть и на ледник.

– Туда еще полдня пути на такой скорости, как у нас. Давай в другой раз пойдем. Вот ноги чуть-чуть к горам привыкнут и пойдем.



С тех пор, как посещение гостиной стало для старцев мероприятием необязательным, в пансионате осталось лишь одно неудобное для них обстоятельство – это маленькие столики на четыре человека, разбросанные по всей столовой.

Вечером перед ужином Баграт сказал медсестре:

– Послушай, дочка, нехорошо как-то, что мы за разными столами здесь сидим, словно и не столы это вовсе, а лодки в море штормом разбросанные, или словно мы все друг с другом за одним столом сидеть не хотим. У нас так не принято, нехорошо это, сама ведь знаешь. Может мы их сдвинем все вместе?

– Ой! – всплеснула руками медсестра. У вас же у всех питание разное, у кого стол № 8, у кого № 15.

– Вот я и говорю, что нехорошо это все: у кого восемь, у кого пятнадцать. Нужно чтобы у всех один стол был.

– Я спрошу у главврача, сказала встревоженная медсестра.

– Спроси, спроси. – покачал головой Баграт. – Он в просьбе нашей не откажет.

Во время следующего ужина, сидя за одним длинным, покрытым белоснежной скатертью столом, Камуг – старый охотник, улучшив момент, когда разговоры среди старцев стихли, сказал вдруг громко:

– А все-таки я ее выследил.

– Кого?

– Кого выследил? – переспросили старики, устремляя на охотника заинтересованные взгляды.

– Понимаете, – Камуг будто и не замечал вопросов и продолжал тоном удачливого охотника. – Вижу следы, но старые, думаю, случайно забрела. Потом – нет, еще следы. Значит, думаю, и в третий раз придет. Стал прикидывать, куда это она здесь ходить может?

– Кого выслеживал-то, Камут?  
– Никак девушку приглядел себе в жены.  
– ...только на родник. Куда, думаю, ей еще ходить здесь?  
– Только девушку выслеживал.  
– Говори, говори же скорее, хороша ли собой?  
– ...решил я на родник сходить. От нас туда тропы нет, заросла от времени...

– Что ж, твоя красавица через перевал с кувшином что ли ходит?

– Никак твоя красавица черкешенка. Из-за красоты этих женщин не один мужчина лишился рассудка.

– ...я-то тот родник еще с детства знаю. Туда дорога через гору идет, да без тропы уж очень трудно добираться. Ну я и решил тогда по уступам на горном склоне к роднику пробраться...

– Видно и впрямь хороша девушка, коль ты так помолодел разом, что как горный тур по уступам скакать решил. Говори, не томи душу, увидел ли ты ее, наконец?

– ...прихожу на родник, – продолжал себе Камут, словно и не слыша вопросов слушателей, – а там след и вправду какой хочешь увидеть можно: хочешь вчерашний, хочешь совсем старый, а свежего нет. Решил я тогда ждать, спрятавшись в кустарнике, притих, слушаю лес, горы, как бывало на охоте: зверь еще подумает, куда ему идти, а я уже знаю и ружье на прицеле держу. Час сижу, два, темнеть уже начало и вдруг, возникает она передо мной у самой воды, как из-под земли вырастает. Так пришла, что ни одна травинка не шелохнулась, ни одна веточка на кустарнике не дрогнула. Сама легкая, как весеннее дыхание, поступь мягкая, как шум волны, ресницы – бархат, что летняя южная ночь, тело грациозное, как тень молодого деревца в сумерках.

– Камут, кого ж ты стерег у родника?

– А разве я вам в самом начале не сказал, – приподнял брови от удивления охотник, – Лань. Лань на водопой приходила.

– А расписывал ее как невесту, – с деланным разочарованием протянул Баграт.

– Лань эта, если хотите знать, нежная, стройная, как самая прекрасная девушка.

– Камут большой мастер рассказывать, – сказал весело Астана. – Раньше, бывало, не одно застолье без его историй не проходило. Он один раз на охоту сходит – одного горного козла и два новых рассказа домой принесет.

– Где же ты их столько брал, Камут?

– Со мной, – подтвердил охотник, – одна история на охоте случится, а одна приснится. С гор спускаться стану с козой на плечах, о камень споткнусь и забуду, что приснилось, а что и вправду произошло. Вот и рассказываю обе как было.

– Камут, а Лань-то на самом деле была или в пансионатской комнате тебя такие видения посещали?

– Лань настоящая, но красивая как сон.

– И где ты ее видел, у какого родника? – спросил Астана.

– Вот это уже моя охотничья тайна, – попробовал было отшутиться Камут, но посмотрел вдруг на Астану и скорее почувствовал, чем увидел на его лице горячее желание увидеть Лань, и еще почувствовал охотник, что старик вопроса своего повторять не будет и умолять показать ему лесную красавицу не станет.

– У «Трех сестер». Знаешь, где три родника рядом из-под земли бьют? В двух вода целебной считается, нефтью пахнет, к ним звери даже лечиться ходят. Раньше все пастухи об этом знали и охотники никогда дичь у тех родников не били. В третьем – вода прозрачная, как слеза. Вот у этого родника я и встретил свою Лань.

На следующий вечер за ужином Астана сел рядом с Камутом и, улучив момент, сказал ему негромко:

– Слышишь, охотник? Мы с Баграмом к родникам сегодня ходили Лань твою смотреть.

- Ну и что, увидели?
- Опоздали мы в засаде место занять. Пришли, а она уже там. Увидела нас – молнией в заросли метнулась, пятнышки на боку, как звездочки в утреннем небе растаяли.
- Что же ты ее так и не разглядел?
- Нет, только копытца перед глазами мелькнули.
- Не расстраивайся слишком, увидишь еще.

С того дня каждый разговор за вечерним столом завершался разговором о Лани. Кто-нибудь из стариков обязательно ходил к «Трем сестрам» и за ужином описывал свой поход. Лань у каждого рассказчика получалась разной: один видел в ней лесную фею или Дзыс – Богинию воды, приходившую колдовать над родником, другой – прелестную девушку, прибегавшую полюбоваться своим отражением.

– Скажи лучше покрасоваться, а не полюбоваться. Она для простой девушки уж очень горда и сложена, как настоящая царица Ланей.

- Царица и вправду царица!
- А зачем, вы думаете, эта царица к воде приходит?
- На нас стариков полюбоваться, наверное. Мы там каждый день засаду устраиваем, а она ходит смотреть, как наш почетный караул в зарослях сменяется.

– Нет, смеется она над нами, – тоскливо сказал Камуг. Ей богу смеется. Смотрит, как мы безоружные по кустам прячемся и дразнит нас. В Камуге взыграла, видно, охотничья страсть.

– Чего ей над нами смеяться? Это она перед нами, старыми охотниками, душой всех убитых нами Ланей является. Вот о чем мы, старики думаем, видя ее у водопада.

– «Эх, где моя молодость? Эх! В былые-то времена я не одну тропу в горах исходил по следу таких вот красавиц».

– Приходит она к родникам воды попить, да подразнить нас. «Вы, – говорит, – старцы, когда теперь в горы попадете, когда юность свою теперь еще припомните, когда еще по-

топчите своими слабеющими ногами зарастающие тропы памяти? Покинули вы эти места, навсегда поселились в безлесных долинах, ждите теперь новой путевки в пансионат. Через несколько дней разъедитесь по домам, а я останусь здесь навсегда. Я – душа убитых вами Ланей. Я – молодость ваша и моя обитель здесь».

\* \* \*

Несмотря на то, что на голубой циферблат часов в гостинной старики старались смотреть как можно реже, часы эти свое дело знали твердо и, застывшие стрелки их, казалось, набравшись сил, перемахнули разом все время, отведенное обитателям пансионата на экскурсию в прошлое.

Как и обещал отцу, Сережа время от времени брал в гараже путевку и привозил в пансионат продукты, стараясь почаще навещать старика. Посещения эти были похожи одно на другое. Спрашивать, нравится ли отцу в пансионате, было как-то неудобно, а сам он ничего об этом не говорил. Сын рассказывал домашние новости или отвечал на редкие вопросы старика. Отец всегда одинаково ровно встречал сына и провожал, не спрашивая, когда тот приедет в следующий раз. Новостей у него никаких не было, а событий в пансионате особенных не происходило.

В один из таких дней, заглянув как обычно к старцу, он нашел того в парке –огражденной, «окультуренной» части леса с асфальтовыми дорожками. Старик сидел на низенькой скамеечке, вырезанной чьей-то рукой из ствола поваленного дерева. Оперевшись двумя руками на посох так, что ладони его оказались выше склоненной на бок головы, долгим неподвижным взглядом смотрел на покрытые снегом, совсем близкие вершины гор.

Он походил на человека, случайно забредшего в это далекое царство одиночества и глубокого покоя, человека, за-

блудившегося в лабиринтах аллей и навсегда потерявшего надежду на возвращение в мир людей.

Сереже почему-то стало жалко отца. Он и сам знал, что именно породило в нем такое чувство, несовместимое ранее с его гордым, полным достоинства стариком. Скорбная ли усталая поза отца, так несвойственная ему или кладбищенский покой пансионатского парка с красивыми, но печальными картинами затухающей природы. Сережа шел навстречу отцу, на ходу подбирая ответ на вопрос: правильно ли он сейчас делает, вторгаясь в уединение старика. Ответ не приходил и он продолжал идти вперед, подгоняемый твердым предчувствием того, что должен, просто обязан разрушить этот непонятный, пугающий своей застылостью покой отца, разорвать это, почему-то кажущееся ему злобным единство увядающего парка, и уставшей, обессиленной позы старика.

Сережа давно уже осознавал, что находится на расстоянии непонимания с отцом. В его отношении к старику было все: уважение, сыновья благодарность, даже почтение. Не было только полного понимания, единения. Он пытался сердцем принять то, что не улавливал и не осознавал мозг. Сердца было мало, или просто не хватало времени, чтобы от души к сознанию донести жизненные истины и отцовские, слишком отвлеченные от быта, ежедневные проблемы и восстановить, наконец, эту необходимую связь. Сережа откладывал на потом эту работу для души и ума, каждый раз повторяя себе одно и то же: «Завтра я обязательно вернусь к этому разговору, завтра я обдумаю все, разложу по полочкам, переварю и состыкую в голове все находящиеся во мне несостыкованные понятия. Завтра. Это будет завтра, а сегодня, сейчас я должен обдумать еще так много. Сегодня есть проблемы, не решив которые я вряд ли смогу потом обрести так нужный мне покой, чтобы вытащить из уголков души

сегодняшние отцовские проблемы и сделать их, наконец-то, своими».

Но приходило долгожданное завтра и на этом не кончалась жизнь. Нужно было думать, как в ней поддержать благо семьи, где отремонтировать старую машину и как приблизить момент покупки новой. Ворошить прошлые разговоры не было времени, а сами они не всплывали и никак на обдумывание не напрашивались. Сегодняшние проблемы переключивались из дня в день, множились, вытесняя отцовские разговоры, которые в уголки души так никогда и не попадали, потому что не были приняты сыном, и, в конце концов, вытеснялись суетой даже из уголков памяти.

«Почему так? – думал все же иногда Сережа с тревогой. – Почему при всей нашей любви и уважении, мы общаемся с отцом, как какие-то ущербные, обделенные природой люди, словно слепой и глухой, идущие по цветущему полю».

«Посмотри, – говорит один, протягивая другому в ладонях цветок. – Посмотри, как он прекрасен, как свежи краски и изящны линии. Когда я вижу его, то мне кажется, что воспринимаю мир во всем его совершенстве».

«Послушай, – говорит другой, не видя, что именно протягивают ему в ладонях. – Послушай как шумит поле, как поют птицы и звенят в траве цикады. Это и есть совершенство, и красота гармонии».

На самом деле, нет ни совершенства, ни гармонии, потому что нет полноты восприятия, не склеиваются их представления о мире и сами они страдают от того, что не способны принять всей этой полноты, и не имеют средств передать свои ощущения друг другу».

Сережа подошел к отцу уже совсем близко, но все-таки не настолько, чтобы лезть к нему на глаза. Теперь он мучительно решал, что же лучше: окликнуть старика и тем самым разом оборвать и перепутать все течение мыслей отца или ждать, пока тот сам не окликнет его.

– Здравствуй, отец, – тихо сказал Сережа, так и не решившись ждать.

Старик покачал головой и было непонятно, отвечал ли он сыну на приветствие или все еще продолжал думать о своем и качал головой в такт своим мыслям. Сережа продолжал стоять рядом с отцом, не зная, что говорить ему дальше, да и нужно ли вообще говорить что-то. Не лучше ли отойти сейчас в сторону и не переступить нить мыслей, тянущуюся сейчас откуда-то из далека старицкой памяти. Не лучше ли отметить накладную и завести мотор машины.

Отец привстал со своего места, приветствуя сына и молча указал тому рукой на скамейку рядом с ним, приглашая сесть.

Видел ли он Сережу раньше или заметил его только сейчас – понять было трудно. Отец уже давно воспринимал все без излишних эмоций и казалось даже, что за долгую его жизнь все внезапно и неожиданно уже случилось, а все, что происходит с ним сейчас давно известно ему и предсказано заранее.

Сережа присел на край скамейки.

– Скажи, – спросил отец, – долго ли мне еще быть здесь?

Старик видимо не считал дней, потому что знал наверно, что ничего этим не изменить в течении времени не сможет, ускорить или замедлить чередование дней – это не в его власти. Он просто жил, как могут жить необремененные суетными заботами люди, как могут жить лишь святые, отшельники и немногие старики, зная, что когда настанет срок – покинут землю, и бессмысленным счетом дней его не приблизить, не отодвинуть.

– Еще четыре дня, отец, – ответил Сережа, – думая про себя: «А ведь я не смог бы так, как он – вне времени и суеты. Я бы, наверное, не смог бы просто жить здесь в этом горном пансионате, а если бы и приехал, то лишь для того, чтобы сменить ежедневные мои заботы на здешние «празд-



ничные». Я бы заводил здесь бесчисленные знакомства, налаживал нужные контакты, через день на машине мотался бы в город доделывать дела, что не успел «свалить» в будни. А если не было бы машины или пансионат находился бы в другом полушарии земли... Да хоть на другой планете!.. Я бы, черт возьми! Как проклятый считал бы дни. Я бы точно знал, сколько дней осталось еще до конца путевки».

Ведь я же экономлю на минутах. Старые отцовские часы на электронные японские сменил. Не модно? Не престижно? Нет! На электронных цифры сами время показывают, а не стрелки. Руку с часами даже останавливать перед глазами не надо. Махнул ею, не задерживая перед лицом и время до секунды отмечено, не надо положение стрелок на часы и минуты в голове переводить.

Отца вот эти проблемы не волнуют. Даже уезжая сюда, он не спрашивал, надолго ли путевка. Только сейчас вопрос этот задал...

...Но ведь задал же. Почему? Зачем ему это понадобилось? Просто так он ведь никогда ни о чем не спрашивает. Я не понимаю этого. Я даже не могу понять плохо или хорошо ему здесь, хочет ли он уехать или, наоборот, жалеет, что осталось так мало времени. Я ничего не понимаю. Я, наверно, просто не способен этого понять. Это в последнее время все чаще и чаще мучает меня. Ведь отец – самый родной мне человек, исток, от которого весь я беру свое начало. Кого же тогда способен я понять, если ему сочувствовать не могу?

Неужели же я один такой? Нет, наверное. Мир болен непониманием. Независимо от того женщина это или мужчина, независимо от всех остальных недугов и хворей, от перееданий и несварений желудка, мир болен непониманием. Причем, одна его половина больна еще молодостью, а другая старостью. Возраст это тоже болезнь, но у молодых есть еще надежда, надежда излечиться от своей болезни, есть еще время постареть и понять сегодняшних стариков.

Пусть они будут непонимаемы для тех, кто родится после них и будут процветать и хворать эгоизмом молодости, но ведь у сегодняшних стариков уже нет надежды на исцеление. Старость – это их последний недуг.

Тогда, наверное, на переломе лет, человек должен приблизиться к относительному пониманию двух состояний, но лишь к относительному, потому как одновременно находиться в старости и юности невозможно. Тогда этот миг, это лезвие времени, делящее жизнь на два отрезка и есть момент великого всепонимания, он где-то совсем рядом в моей жизни. Я сам чувствую, что скоро должен перешагнуть это лезвие и приблизиться, наконец, к отцу. Сейчас мне даже кажется, что я понимаю его, быть может от того, что очень хочу этого. Ведь ему здесь должно быть очень хорошо.

– Хорошо ли тебе в пансионате, отец?

– Да, очень.

Уже возвращаясь домой и вспоминая встречу с отцом, он подумал с радостью, что не угадал, а именно предсказал, почувствовал ответ старика. Предсказал потому, что понял его и старик тоже, наверное, почувствовал это и сказал сыну то, о чем в другой раз умолчал бы, боясь обидеть Сережу. Ему было гораздо лучше здесь, среди гор и деревьев, чем дома, в квартире, на окраине курортного городка. Теперь Сережа и сам понимал это.

«Человек только по молодости думает, что он часть мира людей, а сам этот мир правит природой как хочет, держит ее за слугу. Я тоже не миновал этого, царем себя считал, повелителем зверья разного, птиц да рыб, но это по молодости. Теперь-то знаю, что никакой я не царь вовсе, но и не слуга. Я брат их, причем брат младший, самый неразумный. Сегодня я почувствовал, как природа меня назад позвала.

Умру я, наверное, скоро, Сережа. Отпустила она меня погулять среди людей, а теперь вот назад позвала, и я услышал это. Ты не думай, что я испугался смерти. Я даже обрадовал-

ся, что умру среди гор, в местах, где прошла настоящая моя жизнь. А когда тебя увидел, тоже обрадовался. Ведь умри я тогда в одиночестве, тело бы мое все равно здесь не оставили бы, потому что не отпросился я перед смертью у людей, отпускали они меня сюда не навсегда.

Я у тебя отпроситься сейчас хочу: когда умру, ты меня сюда привези. Старика не осудят, скажи только, что я очень просил перед смертью об этом».

– Отец, не думай об этом. Это осень такие мысли нагоняет. Не смерть, тоска тебя посещала.

– Смерть, Сережа, смерть. Только ты спугнул ее. Теперь когда еще придет? Ну, я ее и не зову.

\* \* \*

За четыре дня Сережа объехал всех родственников отдыхающих в пансионате стариков. Начинать задуманный им разговор от себя было неудобно, и потому он говорил «мы», имея ввиду тех, кто поймет и поддержит его предложение.

– Мы, – говорил он, – решили нашим старикам стол в последний день их пребывания в пансионате накрыть. Пускай, может, не пышное застолье это будет, а соберемся вместе в лесу где-нибудь на поляне, посидим, поговорим. Когда для них еще такая возможность в своем кругу, в горах у костра побеседовать выпадет? Хорошо им там, старикам нашим.

Больше всего Сережа боялся непонимания, не хотел натолкнуться на вопросы: «Зачем это надо? Просили ли старики?», но вопросов таких никто не задавал. Люди радовались предложению, сразу начинали обсуждать детали прощального вечера, сразу брали на себя часть обязанностей.

Постепенно «мы» приобретало реальность. Когда Сережа приехал по очередному адресу и с полной уверенностью в понимании, начал было: «Мы решили...», он натолкнулся

вдруг на удивление моложавого мужчины, в глазах которого застыл вопрос: «А зачем это, собственно, надо?», уверенность его превратилась в отчаяние. Сережа уже готов был сказать: «Мы, собственно, не настаиваем», – и быстрее уйти из этого дома, как моложавый мужчина хлопнул вдруг себя рукой по лбу, потом ударил Сережу той же ладонью по плечу, и сказал весело:

– Молодцы вы! Правда, молодцы! Обязательно приеду и сына своего привезу. «Молодец ты, – в свою очередь подумал Сережа. – Молодец! И я своего сына привезу, и пускай каждый своего сына привезет!»

\* \* \*

Пансионатский двор был уставлен машинами так густо, что Сережа едва нашел место, чтобы пристроить там свои голубые «Жигули». В багажнике его машины лежал мешок с кукурузной мукой для мамалыги. Прикидывая как лучше взвалить его на спину, Сережа не заметил юношу, подошедшего со спины.

– Давайте я помогу вам, – сказал юноша и по праву младшего поднял к себе на спину Сережину ношу. – Вы на «Поляну Старцев?»

– Да, наверное, если есть такая поляна. Кто это придумал – «Поляна Старцев?».

– Внуки старцев. А что, плохо?

– Нет, точно подметили. А за хлебом тебя кто посылал в пансионатскую столовую? – спросил Сережа, указывая на огромных размеров целлофановый мешок до верху наполненный буханками хлеба, который стоял на земле рядом.

– Тоже внуки старцев. Мы, знаете ли, мамалыгу не очень как-то едим.

На поляне было так много народу, что Сережа поначалу даже растерялся: большинство людей он видел впервые,

раньше он даже и предположить не мог, что на его предложение откликнется столько народу. Внутренний, какой-то невидимый механизм порядка правил как бы установленный собравшимися, словно диктовал каждому из мужчин, что он должен делать и где находиться в определенный момент. Юноши, среди которых Сережа увидел и своего сына, приехавшего с друзьями на поляну раньше, носили из родника воду для мамалыги и мяса, разводили костры, мыли зелень и фрукты. Их отцы сколачивали из досок длинные столы и скамейки, старики беседовали между собой, сидя на поваленных деревьях в тени буков. Камут-охотник, которому было поручено резать привязанного к дереву молодого бычка, подтачивал свой нож.

– Здравствуйте! – приветствовали Сережу совсем незнакомые ему люди.

– Здравствуйте! – отвечал он им, с каждой минутой все острее чувствуя, как сам вливается в это единство людей.

Отдельно Сережа поприветствовал стариков и те встали со своих мест навстречу ему. Подозвав сына, он указал ему на мешок с кукурузной мукой и сказал:

– Промойте муку как следует, чтобы абыста белой была.

Постепенно люди стали сходить к дереву, где был привязан молодой бычок. Наступил один из самых важных моментов вечера. Камут готовился произнести речь-извинение перед жертвой, как полагал старинный обычай.

– Идите сюда, все идите сюда, – начал старик разыгрывать перед животным ритуальный спектакль, созывая к дереву всех собравшихся на поляне людей. – Все будем просить прощение у бычка. Прости нас, – поклонился он будущей жертве. – Мы должны сейчас пролить твою кровь. Прости за то, что может не на великом празднике случится это, но у людей собравшихся сегодня на поляне, важный день. Все они решили породниться между собой. Говорят: – все абхазцы – родственники и среди нас здесь многие род-

ственники по крови. Пускай же твоя кровь, что прольется здесь в высокогорье, под чистым голубым небом, скрепит братство людей. Я старик и много разных столов повидал на своем веку, но с тех пор, как покинули мы эти места, у подножия этих святых гор не собиралось за одним столом столько людей, чтобы породниться между собой. Сегодня не два, а два десятка мужчин назовут друг друга братьями, сегодня отцы станут в сотни раз богаче, назвав сыновьями сыновей своих друзей. Три поколения людей нашего края собрались сегодня на лесной поляне. Прошлому – нам старикам, радостно видеть сыновей, настоящих преемников дел и мыслей своих. Еще более отраднo смотреть на внуков и сознавать, что даже после своей смерти будем мы причастны вместе с ними к будущему.

Старик закончил речь, после чего бычок был принесен в жертву.

Затевая это застолье, Сережа просто хотел сделать что-либо приятное отцу и всем старикам, но сейчас видел, что ему самому и всем его сверстникам, среднему поколению, собравшемуся сегодня здесь, вечер этот был не менее важен. Он видел благодарные глаза своего отца и сам старался передать свою радость, свое великое счастье быть членом родства, где три времени соприкоснулись и слились воедино, хотя бы на один вечер. Сережа чувствовал, что сейчас в нем живет великое понимание людей, что именно в эти минуты способен он одновременно проникнуть в душу отца своего и сына. Долго ли будет длиться эта золотая середина связующего поколения звена? Ведь сын его так торопится жить, спешит, совершает столько необдуманных поступков, что самому ему все труднее и труднее становится понимать юношу.

После нескольких тостов Камут заговорил о Лани:

– Ах! Какая Лань ходит на водопой к «Трем сестрам»! Красавица, глаз не отвести!

– Камут, когда об этой Лани говорит, она у него вроде как девушка появляется, – сказал Баграт. – Ты, Камут, про глаза еще расскажи.

– А что, Баграт, думаешь я глаз не разглядел? Глаза, я вам скажу черные, ресницы бархатные...

– ...как южная ночь, – добавил тут же Баграт задумчиво и с деланной тоской в голосе. – Камут на ней жениться хотел, да не догнал.

– Лань та и вправду красивая, как девушка, легкая, стройная, быстрая, как молния.

– Такая быстрая, что я так и не успел рассмотреть ее как следует, – с грустью сказал Астана. – Приду к водопою, а она как метнется в сторону, что только пятнышки на боках мелькают. Это Камуту нашему она часами в глаза смотрит, а от меня бежит стремглав, хоть я и не охотник, а пастух... Так и уеду теперь – не увижу ее. Она как раз в это время на водопой приходит к «Младшей сестре».

– А откуда это название – «Три сестры»? – спросил юноша, в котором Сережа узнал паренька, помогавшего ему нести на поляну мешок с кукурузной мукой.

– О-о! Это давняя история. Когда-то на месте, где бьют сейчас из-под земли родники, стоял одинокий дом лесного охотника. Жена его умерла молодой, оставив трех дочерей. Двух старших мать успела обучить языку зверей и птиц, научила различать целебные травы и готовить из них лечебные настойки. Безнадежно больные люди из последних сил преодолевали подъем в горы, находили охотничий домик и обретали в нем здоровье. Приходили туда лечиться лесные звери, прилетали птицы.

Младшая из дочерей не успела перенять от матери секретов врачевания, но у нее было такое доброе сердце и такие заботливые руки, что vyhаживала она самых тяжелых больных без трав и снадобий.

Однажды напали на эти места враги. Некому было защитить жилище старого охотника, убили враги отца, а дочерей взяли в плен. Долго тосковали девушки на чужбине. Знали, какая судьба ждет их: разлучат, распродадут их по дальним землям и не будет тогда возврата в родные края. Решились пленницы бежать: обманули стражников и бросились в сторону родных гор, что было сил. Догнали пленниц, запрятали в наказание в глухое черное подземелье, куда не доходили людские голоса. Горько плакали девушки, но подземелье не выпускало их стонов и слез, а если бы и выпустило, то врагов бы они не разжалобили.

Обернулись тогда полонянки слезами – для воды в подземелье ведь нет плена. И исчезли сестры из своего заточения тремя потоками.

По самым недрам земли пробирались они в родные края, скрываясь от врагов, а добравшись, наконец, пробились родниками у поляны, где стоял раньше отцовский дом.

С тех пор и появились в этих местах «Три сестры» – два родника целебных, а третий – чистый и светлый, как самая добрая душа.

Начало темнеть, уже остыло на столах мясо и заметно поубавились запасы вина, ярче разгорелись костры, освеща лица стариков, ведущих по очереди один большой рассказ о прошлом, из уст в уста передавая эстафету охотничьих историй и пастушьих легенд.

– А вот мне кажется, не зря та Лань у родника каждый день появляется. И красива она, как девушка и стройна. Ведь это же души трех сестер обратились в Лань и являются перед нами, – тихо проговорил, словно подумал вслух Камуг, а Астана, подхватив его мысль, продолжил ее до конца:

– Мне кажется, так будет всегда. Прольются ли на землю дожди, задрожат ли от грома леса и от землетрясения горы, умрем мы, состарятся наши внуки, а из-под земли все будут бить эти родники любви к родной земле. Лань же эта по-



прежнему будет пить эту любовь и питать ею людей, приходящих к родникам черпать силы родного края.

Длинная узкая тень бросилась, вдруг, от костра на стол и огонь словно померк, заслоненный сгорбленным под тяжестью ноши юношей. Разговор за столом сразу смолк и только Астана по инерции договаривал начатую фразу, которая затухала на его устах. Камуг-охотник застыл в неподвижности, словно затянувшись только что раскуренным в трубке дымом, не мог теперь проглотить его и от волнения, и непонимания, что ему теперь делать с этим дымом, все еще продолжал держать в руке давно погасшую спичку.

Сережу, только мельком взглянувшего на сына, охватила вдруг такая неловкость, будто сам он совершил только что самое стыдное и непоправимое, и теперь выставил себя на всеобщее людское обозрение. «Стыдно, – думал он, отворачиваясь от юноши и втягивая голову в плечи, как это делают напуганные камнепадом люди, инстинктивно стараясь уберечь себя такой мерой от неминуемого камня. – Стыдно, зачем он так?.. Здесь стол, а он себя напоказ...»

Сереже вдруг стало жутко от охватившего его ужасного и очень нелепого ощущения, будто бы он еще минуту назад мчался на машине сквозь ночь, но, увидев своего, неясно откуда вдруг взявшегося на дороге сына, затормозил так резко, что разогнавшаяся по телу кровь хлынула к вискам. В предчувствии столкновения, он даже подался всем телом назад, но его остановка, оказывается, ничего не предотвратила, а лишь запутала и перемешала в сознании привычные пространственные ощущения. Теперь уже сын со своей ношей на плечах неудержимо мчался к нему навстречу и Сережа в отчаянии начал понимать, что столкновение, от которого он хотел избавиться, неизбежно.

Увлечшись застольными разговорами, он на некоторое время выпустил юношу из поля своего внимания и даже не заметил, что тот исчез куда-то на время.

Свет костра разливался по поляне, очерчивая мягкий круг, границы которого сливались с самыми густыми сумерками ночи и тонули в их черноте. Середина же, великолепная, яркая, играющая языками пламени, походила на освещенную праздничную арену, в центре которой стоял юноша, немножко сгорбленный под тяжестью ноши, но очень гордый своим центральным положением.

«Зачем? – снова подумал Сережа, продолжая мысленно пятиться назад, отдаляя как умел столкновение. – Стыдно... Должно быть очень стыдно ставить себя на середину, ничем не заслужив этого... Уходи, ради бога, уходи куда-нибудь, – мысленно умолял он сына. – Уходи со своей арены».

Первым из-за стола встал Камуг, подгоняемый своим охотничьим любопытством и дьявольским предчувствием жертвы, пошел к юноше не торопясь, но видимо, очень волнуясь, и от волнения продолжал держать в руке давно потухшую спичку. Опережая старика, откуда-то из-за неуловимых границ тьмы, также неуловимо вынырнули другие юноши и плотным полукругом обступили Сережиного сына. Вслед за Камугом потянулись к костру и другие. Последним из старцев пошел к внуку Астана и только вслед за ним, глотая проступавшую во рту горечь, и, подавляя могучее сопротивление души, встал из-за стола Сережа.

Люди, толпившиеся на краю маленького светового круга, словно боясь сделать еще один шаг вперед и оказаться в пекле света рядом с Сережиным сыном, замерли в неподвижности. Их взгляды, словно шпаги скрестились на юноше и, проколов его со всех сторон, не изранили, не убили, но выстроились в невидимый лучеподобный помост, на вершину которого самовольно вознес себя, казавшийся Сереже сейчас таким чужим, этот юноша с ношей на плечах... А из проколов на его теле, сначала робко сочилась, а затем уже безудержно фонтанировала какая-то глупая, совершенно непонятная, как и сам этот юноша, гордость.

Сережа все старался поймать его взгляд, но тот скользил мимо отца по всем собравшимся, как снисходительное прикосновение, и лишь на старом Астане внук время от времени останавливал глаза, пытаясь выстроить какую-то понятную только самому ему связь. Больше всего Сереже хотелось сейчас ворваться в это свечение сыновьей гордости и вытолкнуть его оттуда в объятия тьмы, подальше от людских взглядов. Потом извиниться перед собравшимися, самому сделать шаг за границу черноты и исчезнуть там ото всех, как во тьме своего стыда.

Сережа уже черпал из глубины души последние силы, не подозревая даже, что это только начало всех мук и испытаний. Охваченный волнением, он еще не видел того, что успели заметить все остальные, собравшиеся на поляне, и что заставляло их хранить траурное молчание.

Картинно разворачиваясь всем телом, словно нарочно демонстрируя людям свою ношу, юноша еще раз окинул превосходящим взглядом людей. Затем, сделав несколько медленных, полных уверенности шагов, приблизился к деду на дозволенное обычаями расстояние и, не выходя из границ световой арены, опустил к ногам старика свою ношу. Потом так же чинно, в несколько шагов вернулся на свое прежнее место. Ноша, давившая на плечи, словно бы перекрывала своей тяжестью какой-то самый главный источник гордости. Освобожденная гордость теперь хлестала со всею силой, обдавая людей, как будто бы донося до них истинный смысл этого дара.

«Это подарок деду!» – била гордость в глаза людям, и глаза тускнели и тупились в землю.

«Это подарок моему деду!» – наотмашь хлестала людей по лицам юношеская гордость, и лица собравшихся искажались от боли и страдания.

«Поймите же! – истошно орала гордость. – Это я, я, я... Я! Принес в подарок моему деду то, что так хотел он увидеть!»

Вспыхнувший в последний раз костер, стал на глазах слабеть, приближая к себе границы ночи. Вот уже люди, по-прежнему неподвижно стоящие полукругом, словно отпрянув назад, спинами уперлись во тьму, а арена света, сжавшись до маленького кольца, едва умещала на себе юношу.

Светящиеся угли и головешки озаряли бездыханное тело Лани, обмякшее, распластанное у ног старика. Казалось, что только светлые пятнышки на мертвом ее теле продолжали еще жить, как затухающие угольки костра.

От того, что перестали трещать поленья, от наступившего вдруг молчания, от всей этой мучительной тишины у Сережи зазвенело в ушах и ему показалось вдруг, что он слышит звон разбитого, мелкими осколками осыпающегося стекла.

«С чем же я уйду в мое будущее?» – думал Астана, глядя, как гаснут искры на остывающем теле животного.

*с. Кутол, 1987*

*СОДЕРЖАНИЕ*

**КОГДА ПОЛЕ КРАСИВО**

*Роман-симфония*

3

**ГОЛОС ДАЛЕКОГО РАДИО**

*Рассказ*

199

**ПОСЛЕДНЯЯ ЛАНЬ**

*Повесть*

223

Чкадуа Валерий Леварсович

КОГДА ПОЛЕ КРАСИВО

*Роман*

*Рассказ*

*Повесть*

Редактор *С. Цвинария*  
Художник *Р. Таблиа*  
Верстка *Н. Гунба*

Формат 84x108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Тираж 500 экз.

Физ. печ. л. 8. Усл. печ. л. 13,44.

Заказ №.....

Отпечатано в ООО «Флер-1»  
350058, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2